

ДЕНЬГИ ДЛЯ МАРИИ

П о в е с т ь

Кузьма проснулся оттого, что машина на повороте ослепила окна фарами и в комнате стало совсем светло. Свет, покачиваясь, ощупал потолок, спустился по стене вниз, свернул вправо и исчез. Через минуту умолкла и машина, стало опять темно и тихо, и теперь, в полной темноте и тишине, казалось, что это был какой-то тайный знак.

Кузьма поднялся и закурил. Он сидел на табуретке у окна, смотрел сквозь стекла на улицу и попыхивал папиросой, словно и сам кому-то подавал сигналы. Затягиваясь, он видел в окне свое усталое, осунувшееся за последние дни лицо, которое затем сразу же исчезало, и уже не было ничего, кроме бесконечно глубокой темноты, — ни одного огонька или звука. Кузьма подумал о снеге: наверное, к утру соберется и пойдет, пойдет, пойдет — как благодать.

Потом он лег и уснул. Ему приснилось, что он едет на той самой машине, которая его разбудила. Фары не светят, и машина идет в полном мраке. Но затем они вдруг вспыхивают и освещают дом, возле которого машина останавливается. Кузьма выходит из кабины и стучится в окно.

— Что вам надо? — спрашивают его изнутри.

— Деньги для Марии, — отвечает он.

Ему выносят деньги, и машина идет дальше, опять в полной темноте. Но как только на ее пути попадает дом, в котором есть деньги, срабатывает какое-то неизвестное ему устройство, и фары загораются. Он снова стучит в окно и его снова спрашивают:

— Что вам надо?

— Деньги для Марии.

Он просыпается во второй раз. Темнота. Все еще ночь, по-прежнему кругом ни огонька и ни звука, и среди этого мрака и безмолвия не верится, что ничего не случится и в свой час придет рассвет и наступит утро. Кузьма лежит

и думает, сна больше нет. Откуда-то сверху, как неожиданный дождь, падают свистящие звуки реактивного самолета и сразу же стихают, удаляясь вслед за самолетом. Опять тишина, но теперь она кажется обманчивой, словно вот-вот должно что-нибудь произойти, и это ощущение тревоги проходит не сразу.

Кузьма думает: ехать или не ехать? Он думал об этом и вчера, и позавчера, но тогда еще оставалось время для размышлений и он мог не решать ничего окончательно, теперь времени больше нет. Если утром не поехать, потом будет поздно. Надо сейчас сказать себе: да или нет? Надо, конечно, ехать. Ехать. Хватит мучаться. Утром он встанет и сразу пойдет на автобус. Он закрывает глаза — теперь можно спать. Спать, спать, спать... Кузьма пытается накрыться сном, как одеялом, уйти в него с головой и ногами, но ничего не получается. Ему кажется, он спит у костра: повернешься одним боком, холодно в другом. Он спит и не спит, ему снова грезится машина, но он понимает, что это грезы и что ему ничего не стоит открыть глаза и окончательно очнуться. Он поворачивается на другой бок — все еще ночь, которую не приручить никакими ночными сменами.

Утро. Кузьма поднимается и заглядывает в окно: нет, снега нет, но пасмурно, в любую минуту он может пойти. Мутный неласковый рассвет разливается неохотно, как бы сквозь силу. Опустив голову, пробежала перед ним собака и свернула в переулок. Людей не видно. С северной стороны, как пощечина, вдруг бьет о стену порыв ветра и сразу же спадает. Через минуту снова пощечина, потом еще.

Кузьма идет на кухню и говорит Марии, которая возится у печки:

— Собери мне чего-нибудь с собой, поеду я.

— В город? — настораживается Мария.

— В город.

Мария вытирает о фартук руки и садится перед печкой, щурясь от жара, обдающего ее лицо.

— Не даст он, — говорит она.

— Ты не знаешь, где конверт с адресом? — спрашивает Кузьма.

— Где-нибудь в горнице, если живой.

Ребята спят. Кузьма находит конверт и возвращается на кухню.

— Нашел?

— Нашел.

— Не даст он, — повторяет Мария.

Кузьма садится за стол и молча ест. Он и сам не знает, никто не знает, даст или не даст. В кухне становится жарко. О ноги Кузьмы трется кошка, и он отталкивает ее.

— Сам-то назад приедешь? — спрашивает Мария.

Он отставляет от себя тарелку и закуривает. Кошка, выгнув спину, старательно точит в углу когти, потом опять подходит к Кузьме и прижимается к его ногам. Курить в духоте не хочется, Кузьма делает еще одну затяжку и забрасывает окурок в печь, на раскаленные угли.

Он одевается и слышит, что Мария плачет. Ему пора уходить — автобус отправляется рано. А Мария пусть поплачет, если она по-другому не может.

У порога его провожает кошка.

На улице ветер — все качается, шатается, гремит.

Ветер дует автобусу в лоб, сквозь щели в окнах проникает внутрь. Автобус поворачивается к ветру боком, и стекла сразу начинают позванивать, в них бьет поднятыми с земли листьями и мелкими, невидимыми камешками. Холодно. Видно, этот ветер и принесет с собой морозы, снег, а там и до зимы недалеко, уже конец октября.

Кузьма сидит на последнем сиденье, у окна. Народу в автобусе немного, свободные места есть и впереди, но ему не хочется подниматься и переходить. Он втянул голову в плечи и, нахохлившись, смотрит в окно. Там, за окном, километров двадцать подряд одно и то же: ветер, ветер, ветер — ветер в лесу, ветер в поле, ветер в деревне.

Люди в автобусе молчат — непогода сделала их угрюмыми и неразговорчивыми. Если кто и перебросится словом, то вполголоса. Даже и думать не хочется. Все сидят и только; хватаются за спинки передних сидений, когда подбрасывает, устраиваются поудобней — все заняты лишь тем, что едут.

На подъеме Кузьма пытается различить вой ветра и вой мороза, но они слились в одно — только вой и все. Сразу за подъемом начинается деревня. Автобус останавливается возле колхозной конторы, но пассажиров тут нет, никто не входит. В окно Кузьме видна длинная пустая улица. Неподалеку от автобуса стоит корова, ветер поднимает на ее спине шерсть, а она, безучастная ко всему, прикрывает глаза, жует свою вечную жвачку.

Автобус снова трогается. Шофер, молодой еще парень, оглядывается через плечо на пассажиров и лезет в карман за папиросой. Кузьма обрадованно спохватывается: он совсем забыл про папиросы. Через минуту по автобусу плывет синий клочковатый дым.

Опять деревня. Шофер останавливает автобус возле столовой и поднимается.

— Перерыв, — говорит он. — Кто будет завтракать, пойдете, а то еще ехать да ехать.

Кузьме есть не хочется, и он выходит, чтобы размяться. Рядом со столовой магазин, точно такой же, как и у них в деревне. Кузьма поднимается на высокое крыльцо, открывает дверь. Все так же, как и у них: в одной стороне продовольственные, в другой промтовары. У прилавка о чем-то болтают три женщины, продавщица, скрестив руки на груди, лениво их слушает. Она моложе Марии, и у нее, видно, все хорошо: она спокойна.

Кузьма подходит к горячей печке возле окна и вытягивает над ней руки. Отсюда видно будет, когда шофер выйдет из столовой, и Кузьма успеет добежать. Ветер хлопает ставней, продавщица и женщины оборачиваются и смотрят на Кузьму. Ему хочется подойти к продавщице и сказать ей, что у них в деревне магазин точно такой же и что его Мария полтора года тоже стояла за прилавком. Но он не двигается. Ветер снова хлопает ставней, и женщины опять оборачиваются и смотрят на Кузьму.

Кузьма хорошо знает, что ветер поднялся только сегодня и что еще ночью, когда он вставал, было спокойно, и все-таки не может отделаться от чувства, что ветер дует давно, все эти дни.

Пять дней назад пришел мужик, с виду не городской и не деревенский, в светлом плаще, в кирзовых сапогах и в кепке. Марии дома не было. Мужик наказал, чтобы завтра она не открывала магазин, он приехал делать учет.

На следующий день началась ревизия. Когда Кузьма пришел на обед, в магазине стоял полный тарарам. Все, что было в коробках и пачках, Мария и ревизор вытаскивали на прилавок, пересчитывали и записывали в тетрадь; сюда же принесли из склада большие весы и наваливали на них мешки с сахаром, с солью и крупой, собирали ножом с оберточной бумаги масло, гремели пустыми бутылками, перетаскивая их из одного угла в другой, выковыривали из ящика остатки давнишних, слипшихся леденцов. Ревизор с карандашом за ухом бойко бегал между горами банок и ящиков, вслух их считал, почти не глядя, перебирал на счетах костяшки, называл какие-то цифры и снова засовывал за ухо карандаш. Видно было, что дело свое он знает хорошо, да и по годам ему полагалось его знать: ревизору было, поди, под шестьдесят.

Мария пришла домой поздно, вид у нее был измученный.

— Как там у тебя? — осторожно спросил Кузьма.

— Да так — пока никак. На завтра еще промтовары остались. Завтра как-нибудь будет.

Она накричала на ребят, которые сделали что-то не так, и сразу легла. Кузьма вышел на улицу. Где-то палили свиную тушу, и сильный приятный запах разошелся по всей деревне. Страда кончилась, картошку выкопали, и теперь люди готовятся к празднику, ждут зиму. Хлопотливое, горячее время осталось позади, наступило межсезонье, когда можно погулять, осмотреться по сторонам, подумать. Пока тихо, но через неделю деревня взиграет, люди вспомнят о всех праздниках, старых и новых, пойдут, обнявшись, от дома к дому, закричат, запоят, будут опять вспоминать войну и за столом простят друг другу все свои обиды. Так было всегда: осенью, после страды, человек добрей, спокойней — и не потому, что у него есть варенья и соленья, а потому, что он доволен собой — поработал хорошо, ни в чем не опозорился, ничего плохого не случилось.

Кузьма вернулся домой, сказал ребятишкам, чтобы они долго не сидели, и лег. Мария спала, не слышно было даже ее дыхания. Кузьма задремал, но ребята в своей комнате раскричались, и ему пришлось подняться и успокоить их. Стало тихо. Потом на кого-то загавкали на улице собаки и сразу же умолкли.

Утром, когда Кузьма проснулся, Марии уже не было. Он позавтракал и на весь день уехал во вторую бригаду — председатель еще накануне попросил его посмотреть, что у них

там с овощехранилищем и какие материалы нужны для ремонта. За этими делами о ревизии Кузьма совсем забыл, и только когда подходил к дому, вспомнил. На крыльце сидел Витька, старший из ребят, он увидел отца и убежал в дом. «Что это с ним?» — с недобрим предчувствием подумал Кузьма и заторопился.

Его ждали. Мария сидела за столом, глаза у нее были заплаканные. Ревизор, пристроившись на табуретке около двери, поздоровался с Кузьмой растерянно и виновато. Ребятишки, все четверо, выстроились возле русской печи строго по порядку — один на голову ниже другого. Кузьма все понял. Ни о чем не спрашивая, он снял с себя грязные сапоги и босиком прошел в комнату за тапочками. Их там не было. Он вернулся, поискал у дверей, но не нашел и спросил у ребят:

— Не видели мои тапочки?

Мария, не выдержав, заплакала и убежала в комнату. Кузьма без всякого удивления посмотрел ей вслед застывшим взглядом и закричал на ребят:

— Найдутся мои тапочки сегодня или нет?

Он смотрел, как они, не отрываясь друг от друга, будто связанные, тычутся в углы, лезят под кроватями, семенят цепочкой из комнаты в комнату, и все больше и больше терялся, не зная, что делать, что сказать.

Тапочки наконец нашлись. Кузьма сунул в них босые ноги и пошел к Марии. Она, закрыв лицо, лежала на кровати и всхлипывала. Он грубо повернул к себе ее лицо и спросил:

— Сколько?

— Ты-тысяча.

— Что — новыми?

Мария не ответила. Отвернувшись к стене, она снова закрыла лицо руками и зарыдала. Кузьма смотрел, как дергается ее тело, и ему пришлось сдерживаться, чтобы не ударить ее. Он вернулся к ревизору.

— Садись, отец, вот сюда, к столу.

Ревизор послушно пересел. Кузьма достал папиросу и закурил. Сначала ему надо было прийти в себя. Он курил, делая затяжки так часто, будто пил воду. В ребячьей комнате вдруг до крика сорвался голос из радиоприемника, и Кузьма вздрогнул.

— Уберите его!

Ребятишки оторвались от печи, не меняя порядка, в каком стояли, зашлепали друг за другом в комнату, и голос смолк. Когда Кузьма поднял голову, они уже снова стояли у печи, услужливо вскинув на него глазенки, готовые выполнить любое его приказание. Злость постепенно остывала, и Кузьме стало жалко их. Он сказал:

— Я с тобой, отец, буду как на духу — не таскали мы оттуда ни одной крупинки. Я специально это при ребятах говорю, я при них врать не стану. Сам видишь, живем мы небогато, но чужого нам не надо.

Ревизор молчал.

— Так, скажи, откуда столько? Тысяча, что ли?

— Почти тысяча, — подтвердил ревизор.

— Новыми?

— Теперь на старые счета нет.

— Да ведь это сумасшедшие деньги, — задумчиво произнес Кузьма. — Я столько и в руках ни разу не держал. Мы ссуду в колхозе брали шестьсот рублей, и то много было, до сегодняшнего дня не расплатились. А тут тысяча. Я понимаю, можно ошибиться, набежит там тридцать, сорок, ну пускай, сто рублей, но откуда тысяча? Ты, видать, на этой работе давно, должен знать, как это получается.

— Не знаю, — покачал головой ревизор.

— А не могли ее сельповские с фактурой нагреть?

— Не знаю. Все могло быть. Я вижу, образование у нее небольшое.

— Какое там образование — грамотешка! С таким образованием только получку считать, а не казенные деньги. Я ей тысячу раз говорил: не лезь не в свои сани. Работать как раз некому было, ее и уговорили. А потом как будто все ладно пошло.

— Товары она всегда сама получала или нет? — спросил ревизор.

— Нет. Кто поедет, с тем и заказывала.

— Тоже плохо. Так нельзя.

— Ну вот...

— А самое главное: целый год не было учета.

Они замолчали, и в наступившей тишине стало слышно, как в спальне все еще всхлипывает Мария. Где-то вырвалась из раскрытой двери на улицу песня, прогудела, как пролетающий шмель, и стихла — после нее всхлипы Марии показались громкими, они булькали, как обрывающиеся в воду камни.

— Что же теперь будет-то? — спросил Кузьма, непонятно к кому обращаясь, — к самому себе или к ревизору.

Ревизор покосился на ребят.

— Идите отсюда, — цыкнул на них Кузьма, и они гуськом засеменили в свою комнату.

— Я завтра поеду дальше, — придвигаясь к Кузьме, негромко начал ревизор. — Мне надо будет еще в двух магазинах сделать учет. Это, примерно, дней на пять работы. А потом... — Он замаялся. — Одним словом, если

вы за это время внесете деньги... Вы меня понимаете?

— А чего ж не понять, — откликнулся Кузьма.

— Я же вижу: ребяташки, — сказал ревизор. — Ну, осудят ее, дадут срок...

Кузьма смотрел на него со странной, подергивающейся улыбкой.

— Только поймите: об этом никто не должен знать. Я не имею права так делать. Я сам рискую.

— Понятно, отец.

— Собирайте деньги, и мы постараемся это дело замаять.

— Тысячу рублей, — сказал Кузьма.

— Да.

— Понятно, отец, тысячу рублей, одну тысячу. Мы соберем. Нельзя ее судить. Я с ней двадцать лет живу, ребяташки у нас.

Ревизор поднялся.

— Спасибо тебе, отец, — сказал Кузьма хриплым, запекшимся голосом и пожал ревизору руку. Тот ушел. Во дворе за ним скринула калитка, перед окнами прозвучали и затихли шаги.

Кузьма остался один. Ему стало холодно, он пошел на кухню, сел перед нетопленной со вчерашнего дня печкой и, опустив голову, сидел так долго-долго. Он ни о чем не думал, он застыл, и только голова его опускалась все ниже и ниже. Прошел час, второй, наступила ночь.

— Папа!

Словно просыпаясь, Кузьма медленно поднял голову. Перед ним стоял Витька, босиком, в майке.

— Чего тебе?

— Папа, у нас все в порядке будет?

Кузьма очнулся. Витька стоял, тревожно сморщив свое детское лицо, и ждал.

— А как же! — ответил Кузьма. — Мы всю землю перевернем вверх тормашками, а мать не отдадим.

Витька, поверив, ушел.

Утром Мария не поднялась. Кузьма встал, разбудил старших ребят в школу, налил им вчерашнего молока; Мария лежала на кровати, уставив глаза в потолок, и не шевелилась. Она так и не разделась, лежала в платье, в котором пришла из магазина, лицо у нее заметно опухло. Перед тем как уходить, Кузьма постоял над ней, сказал:

— Отойдешь немножко, вставай. Ничего, обойдется, люди помогут. Не стоит тебе раньше времени из-за этого помирать.

Он пошел в контору, чтобы предупредить, что на работу не выйдет. Председатель был у себя в кабинете один, только сидел он не за председательским местом, а напротив него, как бы перед самим собой, и, закрывшись от электрического света, разглядывал себя в стекло, лежащее на столе. Он поднялся, подал Кузьме руку и пересел на свое место, лицом к двери.

— Да-а, — сказал он и вздохнул.

— Что? — не понял Кузьма.

Председатель посмотрел на Кузьму пристально, с интересом.

— Знаю я про Марию, нечего тебе таиться, — сказал он. — Теперь уж вся деревня, поди, знает.

Кузьма выругался.

— Что будешь делать? — спросил председатель.

— Не знаю. Не знаю, куда и пойти.

— Надо что-нибудь делать.

— Надо.

— Сам знаешь, ссуду я тебе сейчас дать не могу, — сказал председатель. — Отчетный год на носу. Отчетный год кончится, потом посоветуемся, может, дадим. Дадим — чего там! А пока занимай под ссуду, все легче будет, не под пустое место просишь.

— Спасибо тебе.

— Нужны мне твои «спасибо». Как Мария-то?

— Плохо.

— Ты иди, скажи ей.

— Надо сказать.

У дверей Кузьма вспомнил.

— Я на работу сегодня не выйду.

— Иди-иди. Какой из тебя теперь работник! Нашел о чем говорить!

Мария все еще лежала. Кузьма присел возле нее на кровать и сжал рукой ее плечо, но она не откликнулась, будто ничего и не почувствовала.

— Председатель говорит, что после отчетного собрания даст ссуду, — сказал Кузьма.

Она слабо шевельнулась и снова замерла.

— Ты слышишь? — спросил он.

С Марией вдруг что-то случилось: она вскочила, обвила шею Кузьмы руками и повалила его на кровать.

— Кузьма! — задыхаясь, шептала она. — Кузьма, спаси меня, сделай что-нибудь, Кузьма!

Он пробовал вырваться, но не мог. Она упала на него, сдавила ему шею, закрыла своим лицом его лицо.

— Родной мой! Спаси меня! — иступленно шептала она. — Спаси меня, Кузьма, не отдавай им меня! Я все для тебя буду делать!

Он наконец вырвался.

— Дура баба, — прохрипел он. — Ты что — с ума сошла?

— Кузьма! — слабо позвала она.

— Чего это ты выдумала? Ссуда вот будет, все хорошо будет, а ты как сдурела.

— Кузьма!

— Ну что?

— Кузьма! — ее голос становился все слабей и слабей.

— Здесь я.

Он сбросил сапоги и прилег рядом с ней. Мария дрожала, ее плечи дергались и подпрыгивали. Он обнял ее и стал водить по плечу своей широкой ладонью — взад и вперед. Она прижалась к нему ближе. Он все водил и водил ладонью по ее плечу, пока она не затихла. Он еще полежал рядом с ней, потом поднялся. Она спала.

Кузьма размышлял: можно продать корову и сено, но тогда ребяташки останутся без молока. Из хозяйства продавать было больше нечего. Корову тоже надо оставить на последний случай, когда не будет выхода: без коровы с ребяташками хоть Лазаря пой. Значит, своих денег нет ни копейки, все придется занимать. Он не знал, как можно занять тысячу рублей, эта сумма представлялась ему настолько огромной, что он все путал ее со старыми деньгами, а потом спохватывался и, холодея, обрывал себя. Он допускал, что такие деньги существуют, как существуют миллионы и миллиарды, но то, что они могут иметь отношение к одному человеку, а тем более, к нему, казалось Кузьме какой-то ужасной ошибкой, и ему было страшно принимать за поиски денег: тогда эта ошибка перестала бы быть ошибкой и он признал бы ее законность.

И все-таки надо было идти и искать эту тысячу. Кузьма поднялся и пошел.

Хорошо еще, что автобус подошел к самому вокзалу и не пришлось добираться к нему по ветру, который как начал дуть от дома, так и не перестал. Здесь, на станции, гремит на крышах листовое железо, по улице метет бумагу и окурки, и люди передвигаются так, что не понять — или их несет ветер, или они бегут сами. Голос диктора, объявляющего о прибытии и отправлении поездов,

рвется на части, комкается, и его невозможно разобрать. Гудки маневровых паровозов, пронзительные свистки электровозов кажутся тревожными, как сигналы об опасности, которую надо ждать с минуты на минуту.

До поезда остается ещё почти два часа, и Кузьма идет в зал ожидания. После автобуса здесь тепло и уютно. Рядом с Кузьмой две старухи, поставив между собой деревянный чемодан, разложили на нем еду и деловито чавкают. Кузьма не выдерживает и тоже лезет в свою сумку. Он ест и поглядывает на мужика в форменной железнодорожной шинели, который, подложив под голову шапку, спит за печкой. Хорошо такому: где упал, там и захрапел. Кузьма мог так на фронте, тогда все так могли, а теперь нет, не сможет.

Объявляют о прибытии какого-то поезда, и старухи, суетясь, собирают в чемодан объедки, торопливо перевязывают его ремнем. Убегая, одна из них машет на мужика за печкой рукой:

— А этот-то, господь с ним, все на свете проспит — спит и спит.

Кузьма, решившись, расталкивает мужика. Тот поднимает голову, смотрит на Кузьму невидящими глазами и раз за разом шумно зевает.

— Тебе куда ехать-то? — спрашивает Кузьма. — Не проспишь свой поезд?

— А?

— Не проспишь, говорю, свой поезд?

— Нет. — Мужик мотает головой, все еще зевая, поднимается и садится на скамью рядом с Кузьмой. — Закурить есть? — спрашивает он.

Кузьма протягивает ему папиросу. Мужик подносит ее к глазам и рассматривает. Глаза у него спрятаны глубже, чем у всех людей, и сматрывают они издали, с усталым прищуром. Лицо у мужика худое, с выпирающими скулами, и кожа на нем кажется мозолистой. Он неторопливо собирает у себя на коленях размаставшиеся полы шинели и закуривает.

— Отдохнуть решил? — по-свойски спрашивает его Кузьма, показывая глазами за печку.

— А что делать?

— Все дела сделаны, что ли?

— Все.

Кузьма ждет, что мужик добавит к этому что-нибудь еще, но тот молчит. По радио объявляют, что с соседней станции вышел поезд, и называют его номер.

— Не твой? — допытывается Кузьма.

— Нет.

— А тебе куда ехать-то?

— Никуда, — безразлично отвечает мужик, потом, словно сжалившись над Кузьмой, добавляет. — Отъездил.

— Как так?

— А вот так. Из последней ездки утром пришел, теперь домой иду.

Кузьма снова ждет, но мужик, наклонившись, сосет папиросу и смотрит в пол. Про Кузьму он будто забыл.

— На пенсию, что ли, уходишь? — не выдерживает Кузьма.

— Ага.

— Отработал, значит, свое?

— Отработал.

— А теперь как же?

— А теперь в окошко буду глядеть. Кто мимо пойдет — увижу.

— Люди ждут не дождутся, а ты вроде и не рад, — замечает Кузьма.

— А какая тут радость? Всю жизнь меня учили, как работать надо. Я и работал. А как дурака валять — никто не научил. Вот тебе время выйдет, ты еще вспомнишь меня.

— Я в колхозе. У нас там хоть до самой смерти работай. Народу-то мало.

— Кого мало?

— Народу, говорю, мало. Людей, колхозников.

Они умолкают.

— Дай еще закурить, если не жалко, — просит мужик.

Кузьма протягивает ему пачку с папиросами:

— Бери больше.

Мужик прикуривает и поднимается.

— Пойду. Ты-то куда едешь?

— В город.

— Утром там будешь.

— Утром, чуть свет.

— Пойду, — говорит мужик. — Счастливо тебе.

Он уходит. Кузьма смотрит ему вслед и думает: «Всякие бывают люди».

За час до поезда Кузьма становится в очередь за билетами. Кассу еще не открыли, и люди стоят угрюмо, подозрительно следят за каждым, кто проходит вперед. Минутная стрелка на круглых электрических часах над окошечком кассы с шумом прыгает от деления к делению, и люди всякий раз задирают головы, мучаются.

Наконец кассу открывают. Очередь сжимается и замирает. В окошечко кассы пресовывается первая голова; проходит три, четыре, пять минут, а очередь не движется.

— Что там — корову, что ли, продают? — кричит кто-то сзади.

Голова выползает 'обратно, и женщина, стоявшая в очереди первой, оборачивается:

— Оказывается, нет билетов.

— Граждане, в общие и плацкартные вагоны билетов нет! — кричит кассирша.

Очередь комкается, но не расходитя.

— Не знают, как деньги выманить, — возмущается толстая, с красным лицом и в красном платке, тетка. — Понаделали мягких вагонов — кому они нужны! Уж на что самолет, и то в нем все билеты поровну стоят.

— В самолетах и летайте, — беззлобно отвечает кассирша.

— И полетим, — кипятится тетка. — Вот еще раз, два такие фокусы выкинете, и ни один человек к вам не пойдет. Совести у вас нету.

— Летайте себе на здоровье — не заплачем!

— Заплачешь, голубушка, заплачешь, когда без работы-то останешься.

Кузьма отходит от кассы. Теперь до следующего поезда часов пять, не меньше. А может, все-таки взять в мягкий? — шут с ним! Неизвестно еще, будут в том поезде простые места или нет — может, тоже одни мягкие? Зря прождешь. «Снявши голову, по волосам не плачут», — почему-то вспоминается Кузьме. В самом деле — лишняя пятерка погоды теперь не сделает. Тысяча нужна — чего уж теперь по пятерке плакать.

Кузьма возвращается к кассе. Очередь разошлась, и кассирша спокойно читает книгу.

— Мне до города, — говорит ей Кузьма.

— В общие и плацкартные вагоны билетов нет, — будто читает кассирша, не поднимая глаз от книги.

— Давай куда есть.

Она отмечает линейкой прочитанное, откуда-то сбоку достает билет и сует его под компостер.

Теперь Кузьма прислушивается, когда назовут его поезд. Поезд подойдет, он сядет в мягкий вагон и со всеми удобствами доедет до города. Утром будет город. Он пойдет к брату и возьмет у него те четыреста рублей, которых не хватает до тысячи. Наверное, брат снимет их с книжки. Перед отъездом они посидят, выпьют на прощанье бутылку водки, а потом Кузьма отправится обратно, чтобы успеть к возвращению ревизора. И пойдет у них с Марией опять все как надо, заживут, как все люди. Когда кончится эта беда и Мария отой-

дет, будут они и дальше растить ребят, ходить с ними в кино — как-никак свой колхоз: пятеро мужиков и мать. Всем им еще жить да жить. По вечерам, укладываясь спать, будет он, Кузьма, как и раньше, заигрывать с Марией, шлепать ее по мягкому месту, а она будет ругаться, но не зло, понарошке, потому что она и сама любит, когда он дурачится. Много ли им надо, чтобы все было хорошо? Кузьма приходит в себя. Много, ох, много — тысячу рублей. Но теперь уже не тысячу, а только четыреста. Шестисот рублей он с грехом пополам достал. Ходил, унижался, давал обещания, стыдясь, брал в руки бумажки, которые казались тяжелыми, как камни. Труднее всего было начинать разговор, в такие минуты он готов был провалиться сквозь землю.

Он опять вспоминает свой разговор с Евгением Николаевичем и чувствует, как откуда-то снизу по телу поднимается стыд.

— А, Кузьма, — встретил его Евгений Николаевич, открывая дверь. — Заходи, заходи. Присаживайся. А я уж думал, что ты на меня сердисься — не заходишь.

— За что мне на тебя сердиться, Евгений Николаевич?

— А я не знаю. Об обидах не все говорят... Да ты садись. Как жизнь-то?

— Ничего.

— Ну-ну, прибедняйся. В новый дом переехал и все ничего.

— Да мы уж год в новом доме. Чего теперь хвастать?

— А я не знаю. Ты не заходишь, не рассказываешь.

Евгений Николаевич убрал со стола раскрытые книги, не закрывая перенес их на полку. Он моложе Кузьмы, но в деревне его величают все, даже старики, потому что вот уже лет пятнадцать он директор школы, сначала семилетки, потом восьмилетки. Родился и вырос Евгений Николаевич здесь же и, закончив институт, крестьянского дела не забыл: сам косит, плотничает, держит у себя большое хозяйство, когда есть время, ходит с мужиками на охоту, на рыбалку. Кузьма сразу пошел к Евгению Николаевичу потому, что знал: деньги у него есть. Живет он вдвоем с женой — она у него тоже учительница — зарплата у них хорошая, а тратить ее особенно некуда, все свое — и огород, и молоко, и мясо.

Видя, что Евгений Николаевич собирает книги, Кузьма встревожился:

— Может, я не ко времени?

— Сиди-сиди, как это не ко времени! — удержал его Евгений Николаевич. — Время есть. Когда мы не на работе, время у нас свое, не казенное. Значит, и тратить мы его должны как душе угодно, правда?

— Как будто.

— Почему «как будто»? Говори, правда. Время есть. Чай вот можно поставить.

— Чай не надо, — торопливо отказался Кузьма. — Не хочу, недавно пил.

— Ну смотри. Говорят, сытого гостя легче потчевать. Правда?

— Правда.

Кузьма поерзал на стуле, решил:

— Я, Евгений Николаевич, по делу к тебе тут по одному пришел.

— По делу? — Евгений Николаевич, настроившись, сел за стол. — Ну, так давай говори. Дело есть дело, его решать надо. Как говорят, куй железо, пока горячо.

— Не знаю, как и начать, — замялся Кузьма.

— Говори, говори.

— Да дело такое: деньги я пришел у тебя просить.

— Сколько тебе надо? — зевнул Евгений Николаевич.

— Мне много надо. Сколько дашь.

— Ну, сколько — десять, двадцать, тридцать?

— Нет, — покачал головой Кузьма. — Мне надо много. Я тебе скажу зачем — чтобы понятно было. Недостача у моей Марии большая получилась — может, ты знаешь?

— Ничего не знаю.

— Вчера ревизию кончили — и вот, преподнесли, значит.

Евгений Николаевич забарабанил по столу костяшками пальцев. Он смотрел то на Кузьму, то в стол, и все барабанил, будто у кого-то спрашивал, что ему делать.

— Неприятность какая, — сказал он.

— А?

— Неприятность, говорю, какая. Как это у нее получилось?

— Вот получилось.

Они замолчали. Стало слышно, как тикает где-то будильник: Кузьма искал его глазами, но не нашел. Будильник стучал, почти захлебываясь. Евгений Николаевич снова забарабанил по столу пальцами. Кузьма взглянул на него — он чуть заметно морщился.

— Судить могут, — сказал Евгений Николаевич.

— Для того деньги и ищу, чтоб не судили.

— Все равно судить могут. Растрата есть растрата.

— Нет, не могут. Она не виновата.

— Что ты мне-то говоришь? — обиделся Евгений Николаевич. — Я не судья. Ты им скажи. Я говорю это к тому, что надо осторожно: а то и деньги внесешь, на всю жизнь разоришься, и судить будут.

— Нет, — Кузьма вдруг почувствовал, что он и сам боится этого, и сказал больше себе, чем ему. — Теперь смотрят, чтоб не зря. Мы не пользовались этими деньгами, они нам не нужны. У ней ведь эта недостача оттого, что малограмотная она, а не как-нибудь.

— Они этого не понимают, — махнул рукой Евгений Николаевич.

Кузьма вспомнил про ссуду и, не успев успокоиться, сказал жалобно и просяще, так что противно стало самому:

— Я ведь ненадолго занимаю у тебя, Евгений Николаевич. Месяца на два. Мне председатель ссуды пообещал после отчетного собрания.

— А сейчас не дает?

— Сейчас нельзя. Мы еще за старую не расплатились, когда дом ставили. И так на встречу идет, другой бы не согласился.

Снова вырвалась откуда-то частая дробь будильника, застучала тревожно и громко, но Кузьма и на этот раз не нашел его. Будильник мог стоять или за шторой на окне, или на книжной полке, но звук, казалось, шел откуда-то сверху. Кузьма не вытерпел и взглянул на потолок, а потом выругал себя за дурость.

— А ты к кому-нибудь ходил? — спросил Евгений Николаевич.

— Нет, к тебе первому.

— Что ж делать — дать придется, — воодушевляясь, сказал Евгений Николаевич, глядя на Кузьму расширенными от своей решительности глазами. — Если не дать, ты скажешь: вот Евгений Николаевич пожалел, не дал. А люди обрадуются.

— Зачем мне про тебя говорить, Евгений Николаевич?

— А я не знаю. Я не про себя, конечно, — вообще. Народ всякий. Только у меня деньги на сберкнижке в районе. Я специально подальше их держу, чтоб не вытаскивать по пустякам. Ехать туда надо. Времени вот сейчас нет. — Он поморщился. — Придется съездить. Дело такое. У меня там сотня и есть — сниму. Это правильно: мы друг другу помогать должны.

Кузьма, совсем обессиленный, молчал.

— На то мы и люди, чтобы быть вместе, — говорил Евгений Николаевич. — Про меня в деревне всякое болтают, а я никому еще в помощи не отказывал. Ко мне часто приходят: то пятерку, то десятку дай. Иной раз послед-

ние отдаю. Правда, люблю, чтобы возвращали, за здорово живешь тоже работать неохота.

— Я отдам, — сказал Кузьма.

— Да я не про тебя, я знаю, что ты отдашь. Вообще говорю. У тебя совесть есть, я знаю. А у некоторых нет — так живут. Да ты сам знаешь — что тебе говорить! Народ всякий.

Евгений Николаевич все говорил и говорил, и у Кузьмы разболелась голова. Он устал. Когда он, наконец, вышел на улицу, последний туман, который держался до обеда, рассеялся, и светило солнце. Воздух был прозрачный и ломкий — как всегда в последние погожие дни поздней осени. Лес за деревней казался близким и стоял он не сплошной стеной, а делился на деревья, уже голые и посветлевшие.

На воздухе Кузьме стало легче. Он шел, и идти ему было приятно, но где-то внутри, как нарыв, по-прежнему зудила боль. Он знал — это надолго.

Мария все-таки поднялась, но рядом с ней за столом сидела Комариха. Кузьма сразу понял, в чем дело.

— Ты уж прибежала, — разозлился он на Комариху. — Почуяла. Как ворона на падаль.

— Ты меня не гони, я не к тебе пришла, — затараторила Комариха. — Я вот к Марии пришла, по делу.

— Знаю я, по какому ты делу пришла.

— По какому надо, по такому и пришла.

— Вот-вот.

Мария, сидевшая неподвижно, шевельнулась:

— Ты, Кузьма, в наши дела не лезь. Не нравится — уйди в другую комнату или еще куда. Не бойся, Комариха, давай дальше.

— Я не боюсь. — Комариха достала откуда-то из-под юбки карты, косясь на Кузьму, стала раскладывать. — Поди, не ворую — чего мне бояться. А на всех если внимание обращать, нервов не хватит.

— Сейчас она тебе наворожит! — со злости Кузьма сплюнул.

— А как карты покажут, так и скажу, врать не стану.

— Где там — всю правду выложишь!

Мария повернула голову, сморщившись, как от боли, сказала:

— Уйди, Кузьма!

Кузьма сдержался, умолк. Он ушел на кухню, но и здесь было слышно, как Комари-

ха плюет на пальцы, заставляет Марию вытягивать из колоды три карты, бормочет:

— А казенный дом тебе, девка, слава те, господи, не выпал. Врать не стану, а нету. Вот она, карта. Будет тебе дальняя дорога — вот она, дорога, и бубновый интерес.

— Ага, орден в Москву вызовут получать, — не выдержал Кузьма.

— И будут у тебя хлопоты, большие хлопоты — не маленькие. Вот они, здесь. До трех раз надо. — Видно, Комариха собрала карты. — Сними-ка, девка. Хотя нет, подожди, тебе снимать нельзя. Надо, чтобы был чужой человек, который не ворожит. У тебя ребяташки дома?

— Нету.

— Ах ты беда!

— Да давай сниму, — сказала Мария.

— Нет, нельзя, карта другая пойдет. Эй, Кузьма! — ласково запела Комариха. — Иди-ка к нам сюда на минутку. Ты на нас, грешных, не серчай. У тебя свое поверье, у нас свое. Сними-ка нам, дружок, шапку с колоды.

— Язви тебя! — Кузьма подошел и толкнул сверху карты.

— Вот так. У меня зять тоже не верил, партийный был — как же! — а как в сорок восьмом под суд его отдали, в тот же вечер ко мне за молитвой прибежал. А вот партийным-то не поможет, бог, видать, их метит. — Это она Марии. — Осудили все равно зятя, пятнадцать лет дали. Тогда не жалели. Уж вкаты, так вкаты! Хорошо, в пятьдесят третьем амнистия вышла, подвезло зятю. Тем и живой остался.

Она раскладывала карты вниз картинками, продолжала:

— Это ведь до поры, до времени не верят, пока жизнь спокойная. А случись беда, да не так чтоб просто беда, а беда с горем — сра-а-зу и про бога вспоминают, и про слуг его, которым в глаза плевали.

— Ну, Комариха, замололась, — покачал головой Кузьма.

— Ничего не замололась. Говорю, как знаю. Вот ты, думаешь, не веришь, хоть и в эту ворожбу? Это тебе только кажется, что не веришь. А случись завтра война, думаешь, не интересно тебе будет сворожить, убьют тебя или не убьют?

— Да ты раскрывай карты-то, — затаропила Мария.

Комариха выразительно взглянула на Кузьму и затаила опять про бубновые интересы и крестовые хлопоты. Кузьма прислушался: казенный дом не выпал и на этот раз.

После Комарихи они остались дома вдвоем. Мария все так же сидела за столом, спиной к Кузьме, и смотрела в окно. Кузьма курил.

Мария не шевелилась. Кузьма за ее спиной приподнялся и посмотрел туда, куда смотрела она, но ничего не увидел. Она ничего не видела. Он боялся заговорить с ней, боялся, что, скажи он хоть слово, произойдет что-нибудь нехорошее, что потом не поправить. Молчать было тоже невозможно. У него опять разболелась голова, и острые, тукающие удары били в висок, заставляя его ждать их и бояться.

Мария молчала. Он исподволь следил за нею, но он мог бы и не следить, потому что, пошевелись она, он в тишине сразу услышал бы любой ее шорох. Он ждал.

Наконец она пошевелилась, и он вздрогнул.

— Кузьма, — произнесла она, по-прежнему глядя в окно.

Он увидел, что она смотрит в окно, и опустил глаза.

Вдруг она засмеялась. Он смотрел в пол и не поверил, что это смеется она.

Она засмеялась во второй раз, но теперь ее смех был где-то далеко. Он поднял глаза — ее не было. Он испугался. Оглядываясь, он поднялся и осторожно подошел к двери, ведущей в спальню. Она лежала на кровати.

— Иди сюда, — позвала она, не глядя на него.

Он подошел.

— Ляг, полежи со мной.

Он осторожно лег рядом с ней и почувствовал, что она дрожит.

Через полчаса она рассказала:

— Ты, поди, решил, что я сошла с ума. Я и правда ненормальная. То плачу, то вдруг стала смеяться. Я вспомнила, кто-то рассказывал, что бабы там, в тюрьмах этих, вытворяют друг над другом. Срам какой. Мне стало нехорошо. А потом думаю: да ведь я еще не там, я еще здесь.

Она прижалась к Кузьме и заплакала.

— Ну вот и опять плачу, — всхлипывала она. — Не отдавай ты им меня, не отдавай, хороший ты мой. Не хочу...

Поезд подходит медленно, уже остановившись, в последний раз вздрагивает и замирает. Кузьма замерз, но в вагон поднимается не сразу. Стоит, смотрит. С десятков пассажиров

с поезда мечутся по перрону, перебегая от одного киоска к другому: со стороны кажется, что их кружит ветер. Откуда-то из-за туч пробивается легкое и тонкое, как высохший лист, солнечное пятно, хотя самого солнца не видно; подрагивая, оно чуть держится на платформе, на крышах вагонов, но ветер быстро срывает его и уносит.

Кузьма ездит редко и всякий раз чувствует себя в дороге беспокойно, будто он потерял все, что у него в жизни было, и теперь ищет другое, но неизвестно еще, найдет или нет. В этот раз особенно: он знает, что надо ехать, и все-таки ехать боится. А тут еще ветер. Конечно, ветер не может иметь никакого отношения ни к истории с Марией, ни к поездке в город, он дует сам по себе, как дул, наверно, и в прошлом, и в позапрошлом году, когда у Кузьмы с Марией было все хорошо, и тем не менее Кузьма не может отделаться от чувства, что одно с другим связано и ветер дует не зря. И то, что не было билетов в общие вагоны, тоже, наверно, не так просто, что-нибудь вроде предупреждения: мол, если не дурак, то поймешь и никуда не поедешь.

По радио объявляют, что до отхода поезда осталось две минуты, и Кузьма, заторопившись, идет к своему вагону, но перед тем как подняться, оборачивается к вокзалу и думает: с чем же я приеду обратно? Как ни удивительно, это помогает ему, будто он прочитал молитву и доверил свою судьбу кому-то другому, а сам теперь может ничего не делать. Он стоит у окна в вагоне и смотрит, как за поездом сходятся друг с другом станционные постройки, и ему странно думать, что еще утром он был дома. Кажется, это было давным-давно. Он вздыхает. Скоро его мучения с деньгами кончатся — плохо ли, хорошо ли, но кончатся: через два дня приедет ревизор, и тогда все решится. Два дня — это немного. Он чувствует усталость, страшную усталость, которая тем и страшна, что она не физическая — к физической он привык.

Проводница открывает перед ним дверь купе:

— Вон та, верхняя полка свободна.

На нижних полках лежат старик и старуха, толстые и белые, с одинаково добрыми лицами. Старуха приподнимается, опускает на пол ноги и смотрит на Кузьму.

Поезд уже вышел из поселка и идет мимо опустевших, перепаханных полей. На ближних межах гнутся и стынут под ветром сероватые березки, силятся удержать свои последние листочки и... не могут. Кузьма тоскливо отворачивается. Надо лечь, уснуть и проснуть-

ся только перед городом, когда не будет ни ветра, ни березок. Вечером ветер должен утихнуть, вечер любит тишину. Хорошо если бы к утру пошел снег. Пусть бы шел сутки, больше: в снег всегда бывает как-то спокойнее.

Кузьма уже собирается взобраться на свою полку, но в купе вваливается пьяный парень. Некоторое время он удивленно смотрит на Кузьму, не спуская с него глаз, присаживается рядом со старухой, сразу же поднимается, потом вдруг веселеет и протягивает Кузьме руку.

— Будем знакомы.

Кузьма называет себя. Парень веселеет еще больше, но тут же делает серьезное лицо.

— Понятно, — говорит он. — Кузьма, значит. Будем знать. А это дедушка. — Он выбрасывает одну руку влево. — Это бабушка. — Вторая рука опускается вправо. — А это я. — Он складывает руки у себя на груди и хохочет.

— Эк красиво! Эк красиво! — качает головой старуха. — Незнакомый человек, ты его не знаешь, а позволяешь себе. Не обращайтесь на него внимания, располагайтесь, — говорит она Кузьме. — Он у нас опять в ресторан ходил.

— А что я такого сказал? — гремит парень. — Разве я его обидел? Кузьма, я обидел тебя?

— Пока ничего обидного не было, — осторожно отвечает Кузьма.

— Во! Слышала, бабуся? Кузьма не обиделся. Ну, бабуся, ну, бабуся, опять ты на меня тянешь!

Он подсаживается к старухе и, подмигивая Кузьме, обнимает ее.

— Уйди! — сердится старуха. — Скорей бы приехать. Надоел, честное слово.

— Ну-у? Неужели надоел? Со стариком всю жизнь живешь — не надоел, а я раз обнял — и надоел! Дед! — кричит он. — Отбить у тебя старуху?

— А это как сумеешь, — неторопливо отвечает старик.

Парень умолкает. С пьяной задумчивостью он смотрит на старика, потом на старуху и устало декламирует:

— «Жили-были дед да баба, ели кашу с молоком...»

— Эк красиво! Эк красиво!

— «Рассердился дед на бабу, хлоп по пузу кулаком».

Парень оживает:

— Дед, ты свою старуху, когда помоложе был, бил или нет?

— Я ее за всю жизнь пальцем не тронул, — с достоинством отвечает старик.

— Ни разу, ни разу?

— Ни разу.

— Теперь таких мужиков и нет, как мой старик, — говорит старуха.

— Куда уж там!

Парень ждет, что ему будут возражать, но все молчат. Он смотрит на каждого из них по очереди, просто так, ни от чего морщится и, не найдя, что делать, из последних сил спрашивает Кузьму:

— Так ты, Кузьма, с нами, что ли, поедешь?

— С вами.

— Давай.

Он опускает глаза и долго смотрит себе под ноги. Вагон мягко и мерно покачивается. Парень опускает руки, голову, переломившись, повисает над полом. Мимо проносится встречный поезд, но парень не слышит.

Кузьма забирается на свою полку. Старуха внизу тормозит парня:

— Ложись, так тебе неудобно. Вот хоть на мою приляг.

— А что — у меня своей нету?

Он поднимается, долго и тяжело лезет наверх, и уже оттуда, словно во сне, поет:

Пропили сестру, пропьем и брата,
Понадеемся, что матушка брюхата.

Кузьма оборачивается к нему — парень лежит с закрытыми глазами, и на его лице нет ничего, кроме сна.

— Эк красиво! Эк красиво! — бормочет снизу старуха.

Кузьма тоже закрывает глаза. Но засыпает он не сразу. Стук колес то отодвигается от него, то с грохотом надвигается — тогда Кузьма, пугаясь, открывает глаза и прислушивается. Он смотрит в окно — там все еще ветер. Кузьма устраивается поудобнее и в который раз пытается уснуть. В конце концов он засыпает.

Ему снится странный сон. Будто идет общее колхозное собрание, на котором обсуждается вопрос о деньгах для Марии. Народу собралось столько, что в клубе, где проводят лишь отчетные собрания, на этот раз тесно. Многие пришли со своими табуретками, многие стоят в проходах, а люди все идут и идут.

— Товарищи колхозники! — поднимается председатель. — Есть предложение закрыть двери. Все желающие сюда все равно не войдут.

Двери закрывают.

— Для ведения собрания нам надо избрать рабочий президиум, — говорит председатель. — Со стороны правления мы предлагаем избрать в президиум следующих товарищей: Марию и Кузьму. Ребятишек ихних выдвигать в президиум не будем по причине несовершеннолетия. Кто «за» — прошу голосовать.

Все «за». Кузьма и Мария под аплодисменты зала поднимаются на сцену и садятся за стол президиума. Кузьма всматривается в зал и почему-то не видит ни одного знакомого лица. «Мария, — испуганно шепчет он, — посмотри: народ-то не наш, чужой». «Да ты что?» — отвечает она. — Что с тобой, Кузьма? Все наши». Кузьма всматривается в зал внимательней и теперь, когда аплодисменты стихли, видит, что люди и в самом деле все свои, деревенские. Он кланяется им и тычет в бок Марию, чтобы она кланялась тоже.

— Товарищи колхозники! — говорит председатель. — Есть предложение помочь Марии. Снова звучат аплодисменты.

— Мы тут между собой обсуждали этот вопрос, — продолжает председатель, — и решили так: надо сейчас всех пересчитать, выяснить сколько тут нас есть, а потом, зная, сколько Марии требуется денег и сколько нас здесь присутствует, мы будем иметь понятие, по сколько рублей сбрасываться. Есть другие предложения?

— Нет.

— Тогда прошу считать по рядам. Но предупреждаю: за попытку выдавать одного человека за двоих будем выводить из зала.

Пока считают, Кузьма за столом президиума от радости щекочет Марию в бок. Она дергается и смеется. «Бессовестный, — шепчет она. — В президиуме так не делают. Сиди смирно». Он затихает.

— Двести двадцать пять человек, — кричат из зала.

— Тысячу рублей разделить на двести двадцать пять человек, — подсчитывает председатель за трибуной, — на каждого выходит по четыре рубля и сорок копеек.

— Чего там — по пять рублей на брата, — округляют сразу несколько голосов.

И вот стол, за которым сидели Кузьма и Мария, — уже не стол, а ларь, и в него со всех сторон, из многих-многих рук падают деньги. Через пять минут ларь полон. Мария не выдерживает и плачет, и слезы ее, как горошины, падают на деньги и со звоном скатываются внутрь.

— Все отдали? — спрашивает председа-

тель. — В таком случае счетную комиссию прошу приступить к своим обязанностям.

Несколько человек выходят из зала и начинают считать деньги. Они собирают их в пачки — пятерки, тройки и рубли отдельно, сверху, совсем как в банке, надписывают сумму и складывают пачки аккуратной стопкой.

— Одна тысяча сто двадцать пять рублей, — наконец объявляют они.

Председатель с неудовольствием качает головой:

— Сто двадцать пять рублей излишку. Что будем делать?

— Пускай забирают все, — советуют ему.

— Нет, так нельзя, — не соглашается он. — Сто двадцать пять рублей — большие деньги. У меня есть вот какое предложение: давайте все деньги унесем в музыкальную комнату, и по одному каждый из нас войдет. У кого недостаток в деньгах, тот пускай возьмет рубль или два обратно. Прошу не шуметь и не возмущаться: мы не миллионеры. Кто не хочет брать — не надо, но, чтобы непонятно было, кто взял и кто не брал, войти туда должен каждый. Есть другие предложения?

— Нет.

Деньги уносят. Люди по одному поднимаются, заходят в музыкальную комнату и сразу же возвращаются на свои места. Последней идет Комариха. Кузьма видит, как она вскакивает, оглядываясь, прикрывает за собой дверь. И вдруг еще там, в музыкальной комнате, раздается ее крик. Комариха выбегает, обводит зал обезумевшими глазами и кричит:

— Там их нет! Нет ни копейки! Я хотела взять только рубль.

Зал взрывается от смеха. Люди хватаются за животы, визжат и стонут, показывая друг другу на Комариху пальцами. Комариха стоит посреди зала с открытым ртом. И вдруг, не выдержав, она тоже начинает смеяться. Кузьма смотрит на зал с удивлением и ужасом; ничего не понимая, он оглядывается на Марию — присев, она корчится от смеха.

Кузьма просыпается и слышит, как старуха говорит старику:

— Сережа, давай грелку, пойду горячей воды налью.

Прижав грелку к груди, она уходит. Тихо. Только постукивает по рельсам поезд, но звук этот, если к нему не прислушиваться, не слышать. В окно попадает серый, измученный ветром свет, в мягко покачивающемся вагоне он успокаивается, становится по-сумеречному уютным. Парень спит, подперев огромным кулачищем подбородок.

Старуха возвращается, побулькивая водой в грелке, сует ее старику под одеяло. В зер-

кало внизу Кузьме видно, что старик вытягивает ноги и замирает.

— Сегодня не болит? — спрашивает его старуха.

— Нет, сегодня спокойно.

— Ну и хорошо.

Они переговариваются тихими, заботливыми голосами, и голоса эти незаметны, они не вырываются из тишины, будто совсем не звучат, а только угадываются. Кузьма чувствует, что ему больше не уснуть, но признаться себе в этом не хочет: тогда придется о чем-то думать или что-то делать. И он лежит с закрытыми глазами. Больше всего он боится думать о том, что мог бы значить этот сон с деньгами. Приснится же такое! Ничего он, конечно, не значит, просто думаешь все время об одном и том же, надумано уже столько, что теперь лезет обратно. А все же на душе нехорошо. Одно к одному: ветер, история с билетами и вот теперь этот сон. Неужели ничего у него не получится? Неужели все зря?

— Сережа, — доносится до Кузьмы голос старухи, и Кузьма рад, что он может к чему-то прислушаться и отвлечься от своих страхов. — Сережа, уж теперь телеграмма наша, наверно, пришла, правда?

— Теперь, конечно, получили, — отвечает старик.

— Ждут.

Старуха ласково, с откровенной радостью улыбается, и щеки на ее широком, крупном лице расползаются еще шире. На несколько минут лицо ее так и застывает с этой улыбкой, потом, устав, улыбка тихонько сходит с лица.

В тот же день, когда Кузьма был у Евгения Николаевича, от директора школы прибежал мальчишка:

— Евгений Николаевич сказал, что он завтра в район не может ехать, у него дела, и что теперь он поедет послезавтра и все сделает, как договорились.

— Ладно, ладно, — согласился Кузьма.

У него как раз, поджав под себя по-турецки ноги, сидел на полу возле печки дед Гордей. Когда мальчишка убежал, дед Гордей спросил:

— Много он тебе посулил?

— Сто рублей.

— Мог бы больше дать, у него деньги есть.

— Говорит, нету больше.

— Слушай ты его! — хмыкнул дед. — Нету — как же! Грамотный, холера, сильно! Не столько грамотный, сколько хитрый — вот как

я тебе скажу. Наш брат хитрить не мастак, он схитрит, его сразу видать, а Евгений Николаевич схитрит, и тебе же перед ним неловко, будто это ты схитрил, а не он. Грамотный — о-о!

Кузьма промолчал.

Дед Гордей сидел у него уже часа полтора. Кузьме надо бы куда-нибудь идти и что-то делать, а он вместо этого слушал болтовню деда. Сказать, что ты, дед, мешаешь, тоже нехорошо — еще обидится. И Кузьма отмалчивался, надеясь, что деду одному говорить надоест и он уйдет.

Деду Гордею было за семьдесят, но старел он плохо. Правда, за последний год он почему-то покосился на один бок, и за это в деревне его успели прозвать лейтенантом Шмидтом в честь парохода «Лейтенант Шмидт», который шлепал по реке уже лет тридцать, но после войны от старости или от чего-то еще стал заваливаться на правый борт и ходил, загибая им воду. Пароход несколько раз ставили на ремонт, но выправить никак не могли, и он снова, к тайной радости береговых деревень, появлялся со своей старой, знакомой всем осанкой.

Кособокость деду Гордею, видно, мешала не сильно, потому что бегал он по-прежнему бодро. По ночам дед сторожил в мастерских, а днем от нечего делать бродил по деревне. Если он усаживался на пол и доставал старую, прокуренную до дырки внизу, трубку, можно было не сомневаться: это надолго. Деду तो ропиться было некуда. Он жил один в маленькой заброшенной избушке на краю деревни, а свой пятистенный дом оставил сыну, с большой и ругливой семьей которого он не ужился и после смерти старухи перебрался в «курятник», как он называл свою избушку. В «курятнике» и в самом деле было грязно: дед убирать не привык, и только Комариха, доводившаяся ему дальней родственницей, раз в месяц, а то и раз в два месяца, причитая, выгребала из избушки лишнее. Но дед этого не замечал.

Устраиваясь поудобнее, дед Гордей вытащил из-под себя одну ногу, пристроил ее так, чтобы можно было на нее облакачиваться, и сказал:

— Холера, и у меня-то, как на грех, денег нету, а то бы беды не знал.

— Ладно тебе, дед, — отмахнулся Кузьма. — Откуда у тебя деньги — чего тут говорить!

— Дак вот, нету. А то бы мы с тобой не сидели, не мараковали, а пошли бы да и взяли у меня.

— Я уж как-нибудь сам справлюсь, — сказал Кузьма, давая понять деду, что он обойдется без него. — Чего я еще тебя буду впускать в это дело?

Дед, обидевшись, умолк. Он выбил из трубки себе на колено пепел, дунул на него и снова стал набивать трубку, сосредоточенно вдавливая табак большим пальцем. Уходить никуда он не собирался и, раскурив трубку, тут же забыл об обиде.

— Дак ты, говоришь, у Евгения Николаевича был? — снова начал он.

— Был, был.

— У него деньги есть, пожалел он тебе. Может, мне у него от себя спросить?

— Не надо, дед. Найду я. Это моя забота, а не твоя. Шел бы ты лучше отдыхать.

— Ты, Кузьма, как ребенок малый. Я, что, для себя стараюсь, что ли? Я весь свой век без денег жил и теперь остатки без них проживу — мне их не надо. Табак у меня свой, кусок хлеба тоже есть, а трубку прикурить я и от уголька могу. Мне, старику, деньги что есть, что нету, я на них, знаешь...

— Ладно, дед, ладно, — примирительно сказал Кузьма.

— Мне обноски свои донашивать до самой смерти хватит. А ежели выпить, то я аппарат сооружу и такого накапаю, что огнем гореть будет, не хуже твоего спирту. Я за весь свой век сколько раз деньги в руках держал — по пальцам сосчитать можно, я с малолетства был приучен все сам делать, на свои труды жить. Когда надо, и стол сколочу, и катанки скатаю. В голодуху, в тридцать третьем году, и соль для варева на солонцах собирал. Это теперь все магазин да магазин, а раньше в лавку два раза в год ходили. Все свое было. И жили, не пропадали. А теперь шагу нельзя ступить без денег. Кругом деньги. Запутались в них. Разучились мастерить — как же: в магазине все есть, были бы деньги. Еще слава богу, если их нету у кого — там ребяташки хоть не разучатся руками двигать, на себя будут надеяться, а не на деньги. А то ведь это что? На иждивение перешли. И маленькие, и большие.

— Раскипятился ты, дед.

— Я правду говорю. Если так дальше пойдет, то люди рожаться не будут, пока оттуда, из матери, не договорятся, сколько им заплатят, если они, значит, вылезут. Когда у нас раньше бывало, чтоб деревенские друг дружке за деньги помогали? Хошь дом ставили, хошь печку сбивали — так и называлось: помочь. Была у хозяина самогонка — ставил, не было — ну и не надо, в другой раз ты ко мне

придешь на помощь. А теперь за деньги. Огород спашет — десятка, сена привезет — десятка, а если отвернется, не чихнет на тебя, то дешевле — рубль. Вот и получается, что работают за деньги, и живут за деньги. Везде выгоду ищут — ну, не стыд ли?

— Давай, дед, остывай, а то это разговор надолго.

— Что — не любо? А я правду говорю, я до нее сам допытался, из жизни взял. Она у меня не купленная, своя. А что тебе рассказываю — дак обидно! Неинтересные стали люди. И на каждом, как на товаре, цена, с ней и ходит. Если пьяница, то два рубля восемьдесят семь копеек, если голодранец, то, как соль, семь копеек, кто в достатке живет — на костюме вытянет. На всех помечено. А как до хорошего человека коснись — такого товару нету, не продается. Он у них под другим сортом проходит, и цена на нем, как на всех, денежная, а не людская: хорошо живет — побольше стоит, плохо — копейки. Вот оно как. А он поживет, поживет, года выйдут, и умрет. И сам про себя знать не будет, что он нужный был человек. Вот где обида. А кто за деньги живет, тот, как пятак в кармане, бренчит, бренчит, под руку лезет, а много ли на него возмешь? А он, нет, не перестанет, все равно будет бренчать, чтоб его слышали.

— Ты, дед, разойдешься — тебя остановить нельзя.

— Да я уж все сказал. Ты думаешь, если старый, так дурак. Я все понимаю, поболее твоего пожил. И людей, всяких видел.

Трубка у него за это время погасла, он спохватился и, причмокивая, стал ее раскуривать. Потом курил — молча, с закрытыми глазами. Кузьма подумал, что теперь он должен уйти. Уже смеркалось, на дворе раз за разом надсадно мычала недоеная корова, но Мария после обеда куда-то ушла и корова старалась зря.

— Если брать с верхнего края, — очнувшись, заговорил снова дед и объяснил Кузьме. — Это я все маракую, к кому тебе пойти. Кто там, на верхнем краю, денежный? У Евгения Николаевича ты был. О-о — этому палец в рот не клади. Этот у себя, на верхнем краю, фукнет, на всю деревню во-онько пахнет, а как до дела коснись, чтоб человеку помочь, десять раз оглянется, пока рубль даст, будто на рубль здоровье свое отдает. А так и есть: изведется весь, а здоровье от этого тоже садится.

— Да черт с ним — вот пристал ты ко мне с Евгением Николаевичем, — поморщился Кузьма.

Дед Гордей будто не услышал его:

— У Петра Ларионова нету, этот — простоты. Этот бы тебе весь белый свет отдал, если бы он у него был. Вот так жизнь и устроена, что рядом с Евгением Николаевичем живет Петя Ларионов, а они друг дружке, как небо и земля. В одном месте родились, на одном языке разговаривают, а нет, не родня. — Со спокойным удивлением дед покачал головой и продолжал. — Ежели к агроному тебе стукнуться, дак он опять с леченья недавно, поди, поистратился. Оно сходить можно — вдруг да осталось сколько. Получка у него хорошая: говорят, с государства деньги идут и с колхоза трудодни. Правда это?

— Правда.

— Сходи в таком разе. Глядишь, даст. А не даст, к Мишке, к соседу его, загляни. — Дед коротко хохотнул, как кашлянул. — У этого разживешься! Этот на три года вперед все с себя пропил. Ой, пье-ет!

— У кого тут еще возьмешь? — тянул свое дед. — Не знаю, Кузьма, не скажу тебе. И живут люди вроде неплохо, а все на жизнь и уходит. В заначку шибко не спрячешь. У всех ребяташки, своя нужда. Теперь и время вроде сытное, еще хорошо, что твоя беда теперь подгадала, а не весной, дак тебе картошку или зерно не будешь по дворам собирать. Кому ты их продашь? То-то и оно. На сто верст кругом такой же мужик живет.

Дед заговорил о том, о чем Кузьма со страхом думал и сам: денег в деревне немного и лишних, скорей всего, нет. На трудодни выдали только хлеб, а продать его и правда было некому, да он ерунду и стоит. Но не мог же Кузьма согласиться с дедом, что да, дело табак, он не имел права даже так думать. И он сказал:

— Найдем, дед, найдем.

— Найдем, — передразнил его дед. — У кобылы под хвостом они спрятаны — там ищи.

— Деньги у людей есть.

— Откуда они?

— Может, скажешь, у той же Степаниды денег нету, когда она каждый год то корову, то быка в колхоз сдает? Да у ней, поди, тысячи припрятаны.

— У Степаниды, однако, и правда есть.

— Вот, у Степаниды. У механизаторов тоже должны быть. Им в уборочную и премиальные, и такие, и сякие платили.

— Дак это когда было.

— Есть у людей деньги, дед. Неужто я со всей деревни не соберу? Неужто не выручат? Врешь, дед, выручат.

— А я тебе ничего такого и не говорю.

— Ну и ладно. — Кузьма оживился, поверил в свои слова сам. — Мы с тобой, дед, не пропадем. Иди-ка ты теперь на свое дежурство, а я пойду делать обход. Вот возьму мешок и в мешок буду собирать. А что? Один наберу, за другим приду. А потом тебя в сторожа найму, чтоб ты деньги мои охранял.

— Ну и балаболка ты, Кузьма, — прищурился в улыбке дед.

Он стал подниматься: сначала встал на четвереньки и только потом на ноги. Растирая бок, на который клонился, сказал Кузьме:

— Дак я к тебе буду заходить, узнавать.

— Заходи, заходи, дед. Чем железо караулить, будешь у меня к деньгам приставлен. Ты сторож для меня подходящий, у тебя трубка, на раскурку ты их непустишь.

— Кхе-кхе-кхе, — закашлялся в смехе дед.

Когда человеку под пятьдесят, трудно сказать, есть у него друзья или нет. Столько самых разных людей, как в гостях, перебивало у него за это время в друзьях, что теперь осталось только умудренное с годами, молчаливо-спокойное отношение к близкому человеку. Не чаще, чем с другими, они встречаются, не имеют общих тайн, но при случае каждый из них осторожно, словно не доверяя самому себе, вспоминает, что есть у него человек, который, когда понадобится, поймет его и поможет ему.

Вечером Кузьма пошел к Василию. Сразу после войны одно время они вместе работали на полуторке — на весь колхоз тогда была только одна машина, на которой они и ездили: сами шоферы, сами грузчики. Потом Кузьма пересел на американский «студебеккер», а полуторка осталась Василию, и он на удивление долго еще мусолил ее на колхозных побегушках, пока она окончательно не развалилась. Колхоз как раз получал две новые машины ЗИС-150, которые отдали Кузьме и Василию, но Василий на своем ЗИСе проработал недолго: у него что-то началось с глазами, тут, как на грех, подросла комиссия, и его комиссовали. Последние четыре года Василий был бригадиром овощеводов.

Они встречались чуть не каждый день, как встречаются в деревне все, но с годами постепенно отошли друг от друга. Случилось это, видно, потому что Кузьма по-прежнему ездил на машинах, а Василий, который тоже мог ездить, не ездил и в разговорах с Кузьмой, наверное, вспоминал об этом. Они здоровались, говорили друг другу всякие необя-

зательные слова и расходились. Но старое, так и не вытесненное ничем чувство, что Василий свой человек ему, в Кузьме продолжало жить, и он берег в себе это чувство, думал о Василии хорошо и спокойно и про себя надеялся на него. Был еще один человек, к которому Кузьма испытывал похожие чувства, но тот, второй, был председатель, поэтому Кузьма сам старался держаться от него подальше, чтобы не получилось, что он навязывается к начальству в друзья-приятели.

Василий встретил Кузьму без удивления и без радости: молча пожал ему руку, как это и водится, спросил о житье. Видно было, что он уже слышал о недостатке и теперь не знает, как себя вести, а охоть да давать бесполезные советы он не умел. Они сидели и курили. То и дело из кухни к ним выходила жена Василия, смотрела на Кузьму со страхом и с жалостью, но, ничего интересного не услышав, снова уходила. Расспрашивать Кузьму не решались, а сам он отмалчивался. Он чувствовал себя человеком, которого ночь застигла в чужой, незнакомой деревне, и он попросился в этом доме переночевать. Ложиться еще рано, и вот теперь все они, и хозяйева, и он, поночевщик, так и не познакомившись как следует и не разговорившись, с трудом коротают время.

Кузьма поднялся и попрощался. Василий вышел его проводить. У ворот они постояли, помялись, чувствуя, что встреча вышла неловкой, но поправлять ее было уже поздно. Василий сказал:

- Ты заходи, Кузьма, когда время будет.
- Зайду, — пообещал Кузьма.
- Нет, правда, заходи. Праздники скоро.
- И ты заходи.

Тогда он впервые подумал о брате. На худой конец, если он не достанет деньги в деревне, можно поехать в город к Алексею. Брат, говорят, живет хорошо.

Кузьма не был у брата ни разу, а виделись они в последний раз семь лет назад, когда умер отец. Это было осенью, в горячее, страдное время, и Алексей, вызванный из города телеграммой, провел тогда в деревне два дня и сразу после похорон уехал. Они договорились, что он приедет на сороковины, когда отцу можно будет устроить неспешные, обстоятельные поминки, на которые соберутся все родные, но почему-то так и не приехал, и поминки прошли без него. Потом, месяца через два, он написал, что был в командировке.

Кузьма редко вспоминал Алексея. Это случилось, когда он думал об отце или матери;

тогда само собой приходило на память, что он не один, что на свете их живет два брата. Но они настолько отвыкли друг от друга, что мысли об Алексее казались Кузьме не настоящими, не его собственными, будто кто-то ему подсказал их. И он сразу же опять надолго забывал об Алексее. Получалось так, что они братья не всегда, не каждую минуту, а только при встречах, да еще были ими в детстве, когда вместе росли.

Три года назад Мария ездила в город в больницу и остановилась у Алексея. Она переночевала там две ночи, а потом, вернувшись, сказала, что лучше жить у чужих. О том, что Алексей с женой живут богато, она говорила без удивления и без зависти. «И телевизор, и стиральная машина есть, а только, куда ни взгляни, за тобой присматривают, не натворила бы чего, куда ни ступи, за тобой идут и следы твои подтирают. Разговаривали без интереса. Мы для них что есть, что нету. Нет уж, больше меня к ним калачом не заманишь».

В прошлом году адрес брата брал у Кузьмы Михаил Медведев, одноклассник Алексея, с которым они вместе после войны учились в ФЗУ. Михаила колхоз на зиму отправлял на курсы бригадиров, и он решил там навеститься к Алексею. Когда он приехал обратно, Кузьма при встрече поинтересовался:

— Ну, как, был у брата?

— Был, ага, заходил.

— И как он там?

— Хорошо. Живой, здоровый. Мастером на фабрике работает, — уклончиво ответил Михаил.

И только позже по пьянке пожаловался:

— Узнать меня узнал, а за товарища не захотел признать. Бутылку и ту не распили.

Размышляя об этом, Кузьма решил, что брат для деревни совсем уж отрезанный лоскуток — и потому, что его не манит сюда приехать, посмотреть, как живут свои и не свои, походить по старым, с детства знакомым местам и разбередить этим душу, а потому, что ему неинтересно с деревенскими разговаривать, знать хоть со слов, что случилось с дедом Федором, который когда-то жарил его крапивою, или с девчонками, которых он провожал с полянки. В глубине души Кузьма обижался на Алексея, но это была слабая, не болящая обида. В конце концов брат сам должен понимать, что к чему, он не маленький. У них с деревней это обоюдное: брат постепенно забывал свою деревню, а стало быть, и свое детство, а деревня постоянно забывала, что был у нее когда-то такой человек.

Но если Кузьма приедет к нему, Алексей, конечно, поможет. Все-таки брат, одна кровь. У него деньги должны быть. Кузьма объяснит, что это ненадолго, что через два месяца с небольшим ему дадут в колхозе ссуду и он сразу вышлет. И как он раньше не вспомнил о брате?

Дома, чтобы успокоить Марию, Кузьма сказал:

— Если в эти дни не соберу, сколько надо, поеду к Алексею.

— Не даст он, — помолчав, сказала она.

И вся уверенность в том, что ему надо ехать к брату, у Кузьмы сразу пропала.

К деньгам Кузьма всю жизнь относился очень просто: есть — хорошо, нет — ну и ладно. Это отношение выработалось главным образом оттого, что денег постоянно не хватало. У них в доме почти всегда была хорошая, сытная еда: хлеба Кузьма зарабатывал вдоволь даже в неурожайные годы, молоко и мясо шли со своего двора. Но деньги... Он слышал о колхозах, где на трудовень приходится по полтора и даже по два рубля, верил, что так оно в самом деле и бывает, но у них в таежном колхозе, в котором поля, как заплатки, были разбросаны то здесь, то там, никто еще больше чем шестьдесят копеек на трудовень не получал. Последние три года, с тех пор как взяли ссуду на постройку дома, при зимних годовых расчетах Кузьма и совсем получал копейки. То, что зарабатывала в магазине Мария, шло на ребятишек. Когда в семье четыре парня, одежонка на них горит как на огне. Еще удивительно, что Мария как-то сводила концы с концами, и ребятишки ходили чисто, не хуже других; старших не стыдно было отправлять в школу, а младшие, как это и водится с испокон веков, донашивали одежонку старших.

Кузьма не считал, что они живут плохо. Самое необходимое в доме есть, раздетыми, разутыми никто не ходит. Он никому не завидовал. К людям, живущим лучше его, он относился так же спокойно, как и к тем, кто выше его ростом. Если он не дорос до них, не ходить же ему теперь на цыпочках. В конце концов каждый топчет свою дорожку.

Кузьма не понимал и не старался понять, как у людей остается сверх того, что уходит на жизнь. Для него самого деньги были только заплатками, которые ставятся на дырки, необходимостью для необходимости. Он мог думать о запасах хлеба и мяса — без этого нельзя было обойтись, но мысли о запасах денег казались ему игривыми, шутовскими, и

он отмахивался от них. Он был доволен тем, что имел.

У них на почте, где была также и сберкасса, вот уже несколько лет висел на стене плакат, на котором розовощекий, не похожий ни на кого из деревенских мужчин без устали призывал каждого: «Брось кубышку — заведи сберкнижку». Но когда на почте бывал Кузьма, мужчина смотрел мимо него. Кузьма переходил с места на место, лез под его взгляд, но мужчина с плаката всякий раз отворачивался, смотрел где-то рядом с Кузьмой и все-таки мимо. Кузьма, довольный, уходил.

И вдруг понадобилось сразу много денег. Кузьма растерялся. Почему деньги выбрали его? — ведь он никогда не имел с ними ничего серьезного. Казалось, за это они и решились ему отомстить. Волей-неволей ему приходилось теперь не просто размышлять, а постоянно думать об одном и том же: где достать деньги? К Евгению Николаевичу он пошел сразу потому, что всегда слышал: у него деньги есть. А дальше? Еще до деда Гордея он мысленно прошелся по деревне от одного края до другого и вернулся домой ни с чем; одни жили лучше, другие хуже, но каждый в своем доме жил своим, у каждого были свои дырки, на которые он готовил заплатки.

Кузьма даже в мыслях не осмеливался просить у них деньги. Он представлял себе свой обход так: он заходит и молчит. Уже одно то, что он пришел, должно было сказать людям все. Но и они молчат — и это молчание в свою очередь также говорит ему больше и яснее всяких слов. Он проходит и идет дальше. В каждый дом заходить нет смысла, он выбирает только те, где, как ему кажется, могут быть деньги. Но деньги с порога не увидишь, их почему-то всегда прячут — засовывают в щели к тараканам, в карманы старых пиджаков, на дно чемоданов. Люди считают, что деньги боятся света. Если бы они, как фотографии хозяев, были на виду, Кузьма сам бы решил, надо ли здесь, в этом доме просить, он бы лишнее не взял. Но и там, где они спрятаны, и там, где их вовсе нет, он в одинаково трудном положении: его встречает молчание, а что за ним — безденежье или скупость, нежелание понять его беду — он не знает. Он злится на себя и на людей, но все равно вынужден идти дальше, другого выхода у него нет.

Но тогда Кузьма еще надеялся, что на самом деле все будет по-другому. Кто-то отмолчится, а кто-то войдет в его положение, скажет просто и легко: «У нас тут, кажется,

есть полсотни, на мотор к лету копили, но тебе сейчас они нужнее — возьми». Хозяин как бы между прочим протянет ему деньги, а он тоже как бы между прочим возьмет в руки тоненькую теплую пачечку из нескольких бумажек, чуть откинувшись назад, без особого внимания засунет ее в карман, и они с хозяином снова займутся разговором о чем придется, но ни один из них даже словом не заикнется больше о деньгах.

Кузьма и пошел сперва к Василию, чтобы почувствовать, может ли он на что-то надеяться, он хотел начать с удачи, а не с отказа, чтобы у него не опускались руки, когда он пойдет дальше. И ничего не получилось. Кузьма вернулся домой и не сел, а как-то осел на табуретку у окна, ни с кем не заговаривая. Но потом вспомнился брат, и Кузьме стало легче.

В сущности, он понимал, что деньги, если даже их нет, — это тот строительный материал, из которого и строятся семейные планы. Люди любят помечтать, что они будут делать, когда у них появятся деньги, что купят, куда пойдут. Каждому хочется жить не хуже других. Ради того, чтобы скопить на мотоцикл, мужик будет ходить в последних штанах, а рубль припрятает; он спит и видит себя с мотоциклом, и на заплатки на штанах ему наплевать.

На такие деньги Кузьма и надеялся. На мотоцикл или на мотор их еще не хватает и они пока лежат без пользы и без движения, никому не делая добра. Так, неужели люди откажутся на время дать их Кузьме, чтобы отстоять Марию? Не может быть!

В окно, в закрытый ставень постучали.

— Кто там? — приподнялся Кузьма.

— Кузьма, выйди на минутку, — позвали с улицы.

Мария выскочила из кухни, испуганно прижала руки к груди:

— Кто это?

— По голосу будто Василий. Чего ты испугалась?

— Сама не знаю.

Василий стоял у ворот, выступая из темноты высокой крупной фигурой.

— Чего в избу не заходишь? — спросил Кузьма.

— Нехорошо получилось, — не отвечая, сказал Василий. — Ты пришел, а поговорить не поговорили. Зачем приходил-то?

— Сам знаешь, зачем.

— Догадываюсь.

— Ну вот. Что еще говорить? Я же знаю, денег у тебя нету, — со слабой надеждой сказал Кузьма.

— Нету. У бабы где-то лежат двадцать рублей и все.

— В избу заходить будешь?

— Нет. Там разговора не получится. Давай сядем здесь.

Они сели на скамейку у ворот, закурили и, поглядывая в темень перед собой, долго молчали тяжелым, но понятным молчанием. Сбоку, уходя вправо от них, горели деревенские огни, оттуда доносились голоса, иногда срывался и затихал где-то возле клуба смех. Было не поздно, но деревня уже успокаивалась, не успев привыкнуть к ранней темноте. Голоса и звуки раздавались поодиночке и становились все реже.

Папиросы докурились, почти в одно время они бросили их себе под ноги и еще помолчали. Потом Кузьма пошевелился, сказал:

— Живешь, живешь и не знаешь, с какой стороны тебя огреют.

— Это так, — отозвался Василий.

— Еще вчера все ладно было.

— А завтра кто-то другой на очереди. Может, не из нашей, из другой деревни, а потом и до нашей снова дойдет — до меня или еще до кого. Вот и надо держаться друг за дружку.

— Я тоже так рассуждаю.

— Евгений Николаевич дает тебе, я знаю, а еще кто есть, нет?

— Пока никого. Хочу завтра к Степаниде сходить, да, однако, не шибко выгорит.

— К Степаниде? — Василий с сомнением повел головой, помолчав, сказал: — А давай завалимся к ней сейчас. Вдвоем на нее надавим. Она же в бригаде у меня, может, при мне постыдится отказать.

— Пошли. Чтоб уж сразу.

— А откуда ты знаешь про Евгения Николаевича? — уже по дороге спросил Кузьма.

— Баба сказала. Да он сам, наверно, не вытерпел, доложил. Как не похвалиться — доброе дело собрался делать!

— Я теперь как космонавт, — невесело пошутил Кузьма. — Куда ни пойдешь, вся деревня знает.

— А ты как думал? Ты теперь на двор ходи и оглядывайся, чтоб не сфотографировали. Смех смехом, а рубли твои — это уж точно — вся деревня считает.

— Сейчас Степаниде и говорить не надо, зачем пришли. Она, поди, с утра ждет.

— И место подыскала, куда прятаться. Они засмеялись. Рядом с Василием Кузь-

ма чувствовал себя легче, и беда его не стояла теперь комом в одном месте, а разошлась по телу, стала мягче и как бы податливей. И хотя надежды на то, что им повезет, было мало, Кузьма знал, что от Степаниды они выйдут вместе, прежде чем расходятся, будут разговаривать и, наверно, о чем-нибудь договорятся на завтра. Это его успокаивало, помогало не думать все время об одном и том же.

Степанида жила в большом, на две семьи доме вдвоем с племянницей Галькой, которая осталась ей от умершей сестры. Гальке шел семнадцатый год, но девка она была крупная и уже давно переросла Степаниду что ввысь, что вширь. Мир их почему-то не брал, и они жили как кошка с собакой: когда в избе становилось тесно, выскакивали во двор и крыли друг друга на всю деревню таким криком, что соседские собаки, оглядываясь, с поджатыми хвостами переходили на другую сторону улицы. Нередко в дело шел старый оцинкованный таз, висевший на гвозде возле крыльца: одна, выскакивая из избы, хватала его и закрывалась как щитом, а вторая дубасила по тазу палкой, и над деревней стоял такой громоток, что впору хоть уши затыкай.

Когда мужики вошли, Степанида засуетилась, запричитала от радости, но это было испуганное, выжидающее гостеприимство; на ее лице появилось, да так и не сошло потом настороженное выражение с одной мыслью: к чему бы это? Улыбка то и дело проваливалась, но Степанида снова водворяла ее на лицо и, суетясь, ждала. Мужики разделись, сели рядом на скамейке. На голоса из комнаты вышла Галька — в коротком, тесном ей платице, с голыми крепкими коленками.

— Явилась! — найдя себе дело, напустилась на Гальку Степанида: — Смотрите на ее, красавицу писаную. Хошь бы оделась, не показывала мужикам срамоту свою.

— А то они не видали! — лениво огрызнулась Галька.

— У-у, бесстыжие твои глаза!

— Ага, а твои не бесстыжие?

— Иди отседова.

Галька, подмигнув мужикам, ушла.

— Измаялась я с ней, — стала жаловаться Степанида. — Ой девка, не приведи господь никому такую. Сколько она из меня крови высосала!

— Ага, была там у тебя кровь, — отозвалась из комнаты Галька. — У тебя там помои, а не кровь.

— Во, слышали? Ей слово, она тебе десять. Ей десять, она тебе тыщу. И как я еще дю-

жу, сама не знаю. Вот счастье-то выпало под старость лет.

— Делать вам нечего, вот и грызетесь, — сказал Василий. — Ты, Степанида, лучше другое скажи: неужели ты нам ничего не подашь?

Степанида растерянно прищурилась:

— Ну и хитрый ты, Василий.

— А чего тут хитрого? Я тебе прямо говорю. Мы с Кузьмой идем и про себя думаем: одна надежда на Степаниду, она, если есть, последнее выставит.

— Ой, Василий, да я для хороших людей и сама хорошая. Когда есть, мне ее жалко, ли чо ли? Для того и держу: а вдруг хороший человек зайдет, а мне и поднести нечего.

— Это правильно.

Подбирая юбки, Степанида полезла в подполье, подала оттуда зеленую, в земле, бутылку, закапанную сургучом. Кузьма, сидевший ближе к подполью, принял бутылку, прищурив один глаз, посмотрел ее на свет.

— Она, она, — заверила Степанида.

— Вот с этого бы и начинала, — повеселел Василий, — а то связалась со своей Галькой.

— Не поминай мне про ее.

Степанида вытерла бутылку о подол, поставила ее на середину пустого еще стола и побежала в амбар — видно, за закуской.

— О деньгах сразу не заговаривай, — предупредил Василий. — Обождем, когда готова будет.

— Да ты сам и скажешь.

— Можно и так.

Из комнаты вышла Галька, увидела на столе бутылку:

— Ого, уже облапошили мою тетку! Ловко вы!

— Ну и змея же ты, Галька! — рассердился Василий. — Тебя спрашивают? Ну и помалкивай. Еще не выросла, чтоб со мной на таком тоне разговаривать.

— Смотри-ка ты! А как с тобой прикажешь разговаривать! По батюшке или, может, по матушке?

— А, да чего с тобой говорить! Ты разве поймешь?

— Ну и не говори. Я к тебе не навязывалась. Обидел он меня! Думаешь, я не знаю, зачем вы сюда закатились?

— Тише ты! — зашипел Василий.

— Ага, испугался! Не бойся, не скажу. Только не заедайся, понял? Я еще и помогать вам буду, если со мной по-хорошему. — Она взглянула на Кузьму, жалобным голосом сказала: — Мне тетку Марию жалко. — Снова перевела взгляд на Василия. — Думаешь, если ты постарше, так имеешь право на меня по-

крикивать? На бабу свою покрикивай. Я к тебе не нанималась.

— Здорова же ты горло драть, — сдерживаясь, подивился Василий.

— Ага, не на ту напал.

— Ладно вам, — стал успокаивать их Кузьма.

Прибежала Степанида, засуетилась возле стола. Усаживая за стол мужиков, запричитала обычное при гостях, заменившее молитву:

— Ничего такого нету — прямо стыд! Если бы знала, что придете, чего-нибудь бы и приговорила, а то все на скорую руку. Стыд, стыд...

— Ты, Степанида, не прибедайся. С такой закуской можно неделю гулять, — успокоил ее Василий.

— Уж ты, Василий, скажешь.

Разлили в три стакана. В точно рассчитанный момент, уже когда чокнулись и остановили дыхание, встряла Галка:

— А мне?

Степанида даже дернулась от злости, вытянула над столом сухую шею:

— Ну, скажите мне, что она не вредительница? Ведь это уметь надо! Ни раньше, ни позже, в самый раз угадала, чтоб испортить людям аппетит. Ой-ей-ей! И за что меня господь бог покарал такой холерой!

Галка, ухмыляясь, принесла стакан, поставила его перед Степанидой, а себе взяла ее стакан.

— Не трожь, окаянная сила! Кому говорить: поставь на место!

— Нальешь в этот — поставлю.

— Неохота при людях с тобой займаться, а то бы я тебе показала, как с родной теткой разговаривать, я бы тебя научила...

— Где уж там!

— Ой, окаянная сила! Ой, окаянная сила! — запричитала Степанида, но в стакан плеснула. Галка взяла его, отлила еще в него из Степанидиного и потянулась чокаться.

— Не рано ли тебе наравне с мужиками пить? — не сдержался Василий.

Галка прищурила глаза, выразительно уставила их на Василия, но он ничего не понял.

— Еще молоко на губах не обсохло, а тут да же. Что из тебя потом будет?

— Во-во, — поддакнула Степанида. — Слушай, что тебе умные люди говорят, раз уж ты родную тетку ни в грош не ставишь.

Но Галка смотрела на Василия.

— Катись-ка ты отсюда со своей лекцией, — спокойно сказала она. — Я и без тебя грамотная, понял?

— Как ты разговариваешь с человеком? — затряслась Степанида. — Он кто тебе — дядя

родной? — так с ним разговаривать! Ты уж совсем, ли чо ли, ума решилась?

— А пускай помалкивает, а то я его быстро на чистую воду выведу.

Кузьма под столом толкнул Василия коленкой, чтобы он отступился от этой змеи.

— Ходит где-то хороший парень и не знает, что на него уж тут петля заготовлена, — сказал еще Василий. — Вот кому-то достанется золотце.

— Да уж не тебе.

— Упаси бог.

— То-то ты и заоблизывался, когда я в том платье вышла.

Кузьма перебил их:

— Может, мы в бутылку обратно сольем да вас слушать будем?

Выпили. Галка подмигнула Кузьме и показала глазами на Степаниду. Кузьма незаметно покачал головой. Этой змее не терпелось видеть, как будут раскошелиться ее тетку. Вот змея! Вызвалась в помощники, а умишко детский, как бы она со своим гонором не испортила все дело.

— А ты чего в клуб не пошла? — совсем некстати спросил ее Кузьма.

Галка прищурилась.

— Мешаю, что ли? Я же вам сказала: я за вас, если он, — она показала на Василия, — не будет заедаться.

— Чего это, чего? — насторожилась Степанида.

— Проехали, — отрезала Галка.

Кузьма замер. Разговаривать с Галкой было опасно. Она и понятия не имела о том, что существуют обходные маневры, или считала лишними их для своей тетки, с которой, мол, не стоит цацкаться, а надо, как курицу, хватать, пока она сидит на месте, и щипать. Нахмурившись, Кузьма показал ей, чтоб она помалкивала. Галка отвернулась.

— А ты чего, тетка, не допиваешь? — разглядела она. — Всех хитрей хочешь быть?

— Э, нет, так у нас не пойдет, — приподнялся Василий. — Что же ты это, хозяйшкa? Давай, давай. Так у нас не делают.

— Ой да я все хвораю, — стала отказываться Степанида.

— Ты, Степанида, чудная, как я на тебя погляжу: я, значит, не буду пить, чтобы и вы, гости дорогие, на меня гляючи, тоже прекращали это дело. Так выходит.

— Да ты что, Василий, зачем ты на меня так говоришь? Разве я такая? Ты скажешь так скажешь. Разве мне ее жалко? Да пейте всю, для того и достала.

— Без тебя не можем, ты хозяйка.

— Сейчас, сейчас. — Степанида заторопилась, допила. — Ты, Василий, прямо обидел меня. Я теперь все буду думать про это. Да мне для хороших людей ничего не жалко.

— Посмотрим, — сказала Галька.

— Чего это ты, змея подколодная, собралась смотреть?

Кузьма торопливо сказал:

— Наверно, в кино собралась, а на билет нету. Ухажера еще не заимела, чтоб на свои водил.

— Да ее, кобылу, все киномеханики бесплатно пускают. У ей вся деревня ухажеры. Доброго человека с рублем не пустят, а она, откуда ноги растут, вертанет, и денег не надо. Прямо Василиса Прекрасная — куды тебе с добром! Я оттого и в кино это не хожу, что мне за ее перед народом стыдно.

У Гальки раздулись ноздри, но Кузьма не дал ей взорваться.

— Давайте еще по одной, — сказал он. — Тебе, Галька, налить?

— На зло ей буду пить, чтоб она от жадности лопнула.

— У-у, язва! Ждет не дожидется моей смерти, а я ей с девяти лет вместо матери была. Поила, кормила и вот вырастила, полюбуйтесь, хорошие люди. Все для ее делала, а от ее доброго слова не слышу. Отблагодарила.

Степанида приготовилась плакать, полезла за подолом.

— Ладно вам, — сказал Кузьма. — Давай, Степанида, выпьем, чтоб ты еще сто лет жила да беды не знала.

— Зачем мне, Кузьма, сто лет? Я уж намаялась, и правда, скорей бы на покой. Работать не могу, а люди не верят. Я ведь только с виду здоровая, а изнутри вся порченная. Она вот смеется, а время подойдет, поймет, как это бывает. Поймешь, поймешь, голубушка, не подсмеивайся, — голос у Степаниды снова отвердел.

— Сколько у тебя, Степанида, в этом году трудодней? — спросил Василий.

— Двести пятьдесят.

— Да сколько не работала.

— Больная я, Василий.

— Я это к тому говорю, что ты на меня, как на бригадира, не обижаешься?

— Что ты, Василий, что ты — какие обиды! Где бы я столько заработала? Спасибо тебе.

— И по правлениям тебя нынче таскать не будут, минимум есть.

— Есть, есть. Нынче я спокойна, не подкапываются. А все ты со своей капустой. Я на тебя рада богу молиться, а ты выдумал, буд-

то мне бутылку жалко. Ой, Василий, да как это тебе на ум пришло?

Василий сказал:

— А ты знаешь, Степанида, зачем мы пришли?

— Не-ет. — Степанида, не выдержав, быстро и тревожно глянула на Кузьму. — Я думала, так просто, посидеть.

— Притворяется, — безжалостно сказала Галька.

Василий одернул ее:

— Да помолчи ты! Без тебя обойдется. — Степаниде сказал: — Посидеть — это само собой. Но у нас с Кузьмой к тебе еще одно дело есть. Ты слышала, что у Марии большая недостача?

— Слышать слышала, кто-то сказывал.

— Выручи их, Степанида. Дело серьезное: если завтра, послезавтра они не соберут, Марию могут забрать. А у тебя, наверно, деньги есть.

— Ой, да откуда у меня деньги?

— Дай им, Степанида. Я ото всей деревни тебя прошу. Дело такое.

— Мы скоро отдадим, — сказал Кузьма. — Мне после отчетного собрания ссуду дают. Это не надолго.

— Вот видишь, это ненадолго, — продолжал Василий. — Они люди надежные, дай им, Степанида.

— Да если б они у меня были, я бы не дала, ли чо ли?

Галька закричала:

— Есть они у ней, есть, не верьте. Есть они у тебя, тетка! — крикнула она Степаниде. — Чего ты врешь?

— А ты их у меня видала? Ты их у меня считала? — подскочила Степанида.

— Не видала и не считала, а знаю, что есть. Ты бы давно уж удавилась, если бы у тебя их не было. Ты бы их украла. Ты кулак, хуже кулака, тебя раскулачить надо!

— Ты мне ответишь за эти слова. В суде ответишь. Ты мне ответишь! — подсказывала Степанида.

— Испугала! Еще поглядим, кто ответит. Кулачиха, кулачиха!

— Тише вы! — крикнул Василий. Наступило молчание, твердое и неудобное, как дерево, не давая им шевельнуться. Они и сидели не шевелясь, даже затихла Галька. Потом Василий негромко сказал:

— Ты посмотри, Степанида, может, сколько есть. Сама знаешь: четверо ребятишек у Марии.

— Не надо больше, Василий, — попросил Кузьма.

Галька взглянула на него, не убирая лица и не закрывая его, заплакала:

— Тетку Марию жалко, — причитала она. Слез у нее было много, и они с крупного покрасневшего лица стекали на шею. Степанида нагнулась и тоже промакнула свои глаза подолом, плачущим голосом сказала:

— Мне Мария как родная. Да я бы для ее последнего не пожалела. Она мне столько добра делала.

Снова замолчали. Степанида то и дело наклонялась, вытирала подолом глаза, будто надраивала их, как пуговицы, чтобы они наконец, заблестели. Наклоняясь, снизу, почти из-под стола выглядывала на мужиков, не то всхлипывала, не то мычала.

— Хватит тебе, Галька, реветь, — сказал Василий. — Рано еще Марию оплакивать.

— Врет она, врёт! — закричала опять Галька. — Я знаю. Видеть ее не хочу.

— А не хочешь, так и выметайся! — подхватила Степанида. — Не заплачу. Хошь сейчас выметайся! Ты мне всю шею переела.

— Пойдем, Василий, — сказал Кузьма.

— Пошли.

Они оделись и вышли. Из Степанидиной избы нарастал крик; с двух сторон деревни на него откликнулись собаки, загавкали густо и дребезжаще. Василий ругался, грозил выгнать Степаниду из бригады. Кузьме было все равно. Боль за Марию и за ребятишек, вспыхнувшая за столом, когда заговорили о деньгах, теперь прошла, и недостача казалась такой же не страшной, как это собачье гавканье. Будь что будет. Кузьма чувствовал только, что он устал и хочет спать, все остальное было не важно.

— Завтра я зайду, — сказал Василий, сворачивая к себе.

— Ага.

Кузьма остался один. Он шел на самый край деревни, в свой новый дом, поставленный для того, чтобы жить в нем, поживать да добра наживать. Деревня спала, только все еще подлаивали друг другу собаки. Спали люди и вместе с ними спали их заботы, отдыхая для завтрашнего дня, чтобы двигаться в ту или в другую сторону. А пока все оставалось на своих местах, все было неподвижно.

Кузьма пришел домой и сразу лег. Он уснул быстро и спал крепко, забыв во сне обо всем на свете.

Так закончился первый день.

Поезд рвется вперед, разбрасывая по сторонам дрожащие и тусклые на ветру огоньки. Потом огоньки пропадают, и за окном остается белесоватая, еще не налившаяся до конца темнота. Снова покажется дальний одинокий огонек, грустно посветит и отойдет, но за ним вдруг выскочат два, а то и три огонька вместе, высветят под собой кусок земли — совсем небольшой, с крохотным домиком и поленицей дров или углом сарая. Они сразу же отступают, их смывает темнотой, и опять надо ждать следующий огонек, и следующий домик, потому что без них как-то не по себе.

Кузьма лежит и смотрит в окно. Он устал лежать без движения, смотреть в темноту, как в стену, но что еще можно делать, он не знает. Хорошо что поезд идет и идет, и город все ближе. Так, отыскивая огоньки, можно ни о чем не думать — это как игра, чтобы обмануть себя.

Заворочался на своей полке парень, закрипел во сне зубами, и старуха внизу, тоже дремавшая, открывает глаза, смотрит на часы.

— Сережа, — негромко зовет она. — Проснись, Сережа.

— Я не сплю, — отзывается старик. — Так лежу,

— Время принимать лекарство.

— Если время, то давай.

— Не болит сейчас?

— Нет, нет.

Кузьма ложится на спину; теперь, когда заговорили старик со старухой, можно послушать их и не таращиться больше в окно. Услышав голоса, снова заворочался парень и сразу же, хмурясь, приподнялся, свесив ноги.

— О-о. — Парень увидел, что старик что-то пьет из стакана. — Наш дед уже опохмелиться решил. Ничего себе.

— У тебя одно на уме, — несердито отвечает старуха. — Сережа лекарство водой запил, а ты уж бог знает что подумал.

— А что — дед раньше-то, поди, поддавал?

— Сережа никогда, ни разу в жизни не напивался пьяным. Выпивать выпивал, а пьяным не бывал.

— А, потом все так говорят. Я, если до старости доживу, тоже потом кому-нибудь такую байку расскажу.

— Скажи ему, Сережа, сам.

— А зачем? — рассудительно отвечает старик.

— И то правильно. Они теперь не поймут. В другое время парень, наверно, сцепился бы спорить, но сейчас ему не до того. Бе-

режно, постанывая и покряхтывая, он опускается вниз и там признается:

— Голова трещит — спасу нет!

— Как же ей, голубчик, не трещать, когда ты ее совсем замучил, — говорит старуха.

— Кого замучил?

— Голову свою замучил.

Парень через силу улыбается:

— Чудная ты, бабка. Говорит, голову свою замучил. Меня баба моя пилит, что я ее замучил, а ты говоришь — голову.

— На кого вот ты теперь похож? На человека совсем не похож.

— Это дело поправимое, бабуса. Вот Кузьма, поди, знает, что такое вечернее похмелье. Лучше умереть, чем его переносить. — Парень надевает ботинки, медленно, с болью разгибается и лезет в карман пиджака. — Сейчас мы ему скажем: свят, свят, и его как не бывало. Можно дальше ехать. Дело знакомое.

Он уходит. Старуха качает вслед ему головой и вздыхает. Кузьма в зеркало видит, что старик, наблюдая за ней, чуть заметно улыбается.

— Ты что, Сережа? — спрашивает она.

— Ничего, ничего.

— Я что-нибудь не так делаю, да?

— Все так. Ты не беспокойся.

— Если не так, ты скажи.

— Обязательно скажу, я тебе всегда говорю.

— Да-да.

Кузьме и приятно слушать их разговор, и как-то неловко, словно он невзначай стал свидетелем того, что говорится только между мужем и женой. Он закрывает глаза и притворяется спящим, но лежать так скоро становится невозможно, хочется повернуться на бок и куда-нибудь смотреть. Кузьма, как мальчишка, ерзает, с силой сдвигает глаза. И вдруг он слышит, что дверь открывают. Но это еще не парень, это проводница.

— Чай пить будете? — спрашивает она.

— Сережа, чай, — говорит старуха.

— Несите, несите. Чай — это хорошо.

Кузьма сползает вниз.

— Также стаканчик выпью, — говорит он.

— Обязательно надо выпить, — отвечает старуха. — Я и то подумала, что вас надо разбудить.

Пристроившись за маленьким столиком, они пьют чай, и старуха угощает Кузьму домашними печенюшками. У Кузьмы наверху в сумке есть яйца и сало, но он не решается достать их, все думает, что надо достать и не осмелится. К чему им, поди, его сало? Они люди интеллигентные и говорят между собой

так, будто только вчера сошлись и не успели еще друг на друга налюбоваться. А живут давно; старуха рассказывает Кузьме, что они едут к сыну в Ленинград, сын вообще-то каждое лето приезжал к ним сам, но нынче он был вграничной командировке и не смог их навестить. Она спрашивает Кузьму, и Кузьма отвечает, что он едет в гости к брату, с которым не видался семь лет. Старик больше помалкивает, но слушает внимательно. Кузьме хорошо сидеть с ними, и он потом уже не стесняется их, особенно старуху, которая, оказывается, выросла тоже в деревне и деревенских уважает. Она говорит Кузьме, что все люди родом оттуда, из деревни, только одни раньше, другие позже, и одни это понимают, а другие нет. Кузьме это нравится, он поглядывает на старика, что скажет он, но старик молчит. И доброта человеческая, уважение к старшим и трудолюбие тоже родом из деревни, говорит старуха, но теперь уже сама смотрит на старика.

— Правда, Сережа? — спрашивает она.

— Возможно.

И тут приходит парень, по песне они слышат его еще издали. Он закрывает за собой дверь и продолжает петь:

Самое с бабами
в мире
Черное море мое,
Черное море мое.

— Эк красиво! Эк красиво! — укоризненно качает головой старуха. — И кто тебя таким песенкам учит?

— А что — плохие песенки, что ли?

— Да уж чего хорошего?

— Да ну тебя, бабуса! Уж не знаешь, к чему прикопаться. Цензурные песенки, без мата. Хоть в концерте разучивай. — Парень присаживается рядом с Кузьмой и встряхивает, будто взбалтывает, голову. — Почти в норме, — радостно сообщает он. — Чуть-чуть осталось, это пройдет. Как ты это на меня, бабуса: голову, говоришь, свою замучил?

— И правда. Пьешь и пьешь. И денег тебе не жалко.

— Деньги — это ерунда, дело наживное.

— Деньги тоже уважать надо. Они даром не достаются. Ты за них работаешь, силу свою отдаешь, здоровье.

— Денег у меня много. Они меня, бабуса, любят. — Они — как бабы: чем меньше на них внимания обращаешь, тем больше они тебя любят. А кто за каждую копейку дрожит, у того их не будет.

— Как же не будет, если он их не бросает зря на ветер, не пропивает, как ты?

— А так. Они поймут, что он жмот, и — с приветом!

— Вот уж не знаю.

— Точно я тебе говорю. Ты, бабуся, не думай: деньги тоже с понятием. К крохобору крохи и собираются, а ко мне, к простому человеку, и деньги идут простецкие. Мы друг друга понимаем. Мне их не жалко, и им себя не жалко. Пришли — ушли, ушли — пришли. А начни я их в кучу собирать, они сразу поймут, что я не тот человек, и тут же со мной какая-нибудь ерунда: или заболел, или с трактора снимут. Я это все уж изучил.

— Интересная философия, — замечает старик. — Сделайся, значит, простягой, и деньги твои?

— Не-е, зачем? Работать надо, — серьезно отвечает парень. — Я люблю работать. В месяц по двести пятьдесят, по триста выколачиваю, а зимой, когда трелевка начнется, все четыреста. За мной не каждый удержится. Если не работать, откуда им быть?

— Это где же такие деньги? — не выдерживает Кузьма.

— У нас в леспромхозе. У нас механизаторы хорошо получают.

— А что толку? — говорит старуха. — Все равно ты их и пропиваешь.

— Пропиваю. А что? Я за день намерзнусь, намаюсь и не выпить? Что это за жизнь? Я отдых тоже должен иметь.

— Жена тебе, наверно, сама к вечеру каждый день бутылочку берет?

Парень смеется:

— Подкусываешь, бабуся? Я бы за такую жену чего хочешь отдал.

— А твоя-то, значит, не очень любит, когда ты пьешь?

— Ну да, не понимает. Но теперь это в прошлом. Я с ней разошелся.

— Разошелся?

— Ага. Вот, недавно. Разошлись, и я поехал.

— А почему?

— Без понятия она, не понимала меня. Поэтому. В бане родилась, а кашлять тоже надо по-горничному. Ну ее! — Парень бодрится. — На свете баб много.

— Они все, голубчик ты мой, не любят, когда пьют. Каждой охота по-человечески жизнь прожить. А ты явишься домой чуть тепленький, да еще начнешь характер свой показывать, буянишь, наверно.

— Не. Я смирный. Меня если не трогать, я спать ложусь. Но тоже под пьяную руку меня не зуди. Не люблю. Утром говорю, что

хочешь, все вынесу, а с пьяным со мной лучше помалкивай.

— Неуважение к женщине тоже родом из деревни, — говорит старик старухе.

— Нет, Сережа.

— Что это? — не понимает парень.

— Сережа говорит, что женщину в городе уважают больше, чем в деревне.

— А чего ее сильно уважать? Она потом на голову тебе сядет с этим уважением. Я знаю. Ее надо всегда в норме держать, не давать ей лишнего. А то слабинку почует — и пропал. Начнет тебе права качать. Заездить могут.

— Тебя заездишь, — с сомнением говорит старуха.

— Я — другой разговор. А есть некоторые слабохарактерные, им достается.

— Ну что ты несешь? Что ты несешь? Смотри-ка, какой заступничек? Сам пьет, а женщина у него виновата, — не то сердится, не то удивляется старуха. — Вот теперь и достукался, будешь жить один.

— Зачем один? Я себе найду.

— Кто за тебя, за пьяницу пойдет?

— Бабуся! — с ласковой укоризной произносит парень. — Стоит только свистнуть... На белом свете, бабуся, полно лишних баб. Им тоже жить охота. Женщины, они слабые, правильно? Они без нас не могут. Я вот сам деревенский, а в город когда приезжаю, завсегда себе бабу найду. Говорят, деньги им надо давать, то, другое — ерунда это, это, может, до революции и было. Теперь у них сознательность. Они обхождение любят, правильно? Им только не хамя раньше времени, сумеешь подъехать — и лады.

— И хорошо твоя жена сделала, что разошлась с тобой, — говорит старуха.

— Это ты о чем? — удивляется парень. — Что я бегал от нее? Это не уважительная причина. Все бегают.

— Ты всех на свой аршин не меряй.

— Да что ты мне, бабуся, говоришь? Мне вот одно место давали почитать в одной книжке. Там писатель, не помню его фамилию, пишет, что кто, значит, это... не изменял своей жене, тот вроде дурака, нет у него интереса к жизни. А что? — правильно! С одной-то всю жизнь надоест. Приедается.

— Сережа, ты слышишь, что он говорит? — улыбаясь, спрашивает старуха.

— Слышу.

— Скажи ему.

— Зачем?

— Нет, ты скажи. Ведь он думает, что так и надо. Ведь он ничего не знает.

— Это его дело. Не перевоспитаем же мы с тобой всех.

— Скажи, дед, чего она просит. Жалко тебе, что ли? — говорит парень.

— «Скажи, дед, чего она просит», — передразнивает его старуха. — Этот дед, вот он, перед тобой, живой пример, он за всю жизнь ни одного разу мне не изменил. А ты говоришь, все такие. Вот он, перед тобой этот дед, смотри, если ты других не видел.

Парень подмигивает старику:

— Ты думаешь, бабуся, я бы при своей бабе сказал, что, мол, было дело? — представив, чтобы после этого началось, парень от души смеется. — Вот была бы потеха, она бы мне...

Старуха смотрит на него и терпеливо улыбается. Потом говорит — все с той же терпеливой улыбкой:

— Но он мне в самом деле ни разу не изменял. Почему ты не можешь в это поверить?

Парень все еще смеется:

— Откуда ты это знаешь, бабуся?

— Я ему верю.

— А-а... веришь.

— Скажи ему, Сережа. Он ничего не понимает.

— А зачем мне было ей изменять? — спрашивает старик у парня.

— Как зачем?

— Да... зачем?

— Тебе лучше знать. Она твоя старуха, а не моя.

— Почему ты изменяешь своей жене?

— Интересно.

— Что интересного?

Парень сладко ухмыляется:

— Все интересно. Какая баба и... вообще... все. Бабы ведь разные.

— А Сереже было со мной интересно, — просто говорит старуха. — Ему с другими было неинтересно.

Парень с откровенным любопытством, как на иностранца, смотрит на старика.

— Так я ему и поверил, — говорит он.

— Это твое дело.

Наступает молчание, в котором парень спокойно водит головой из стороны в сторону, поглядывая то на старуху, то на старика. И вдруг он замечает Кузьму.

— А ты, Кузьма, от своей бабы бегал или нет?

Кузьма рассеянно улыбается. Во время этого разговора он не один раз вспомнил Марию и остро, до боли почувствовал, как она ему нужна. Все, что было у них хорошего и

плохого, теперь куда-то пропало, они остались одни, будто еще не начинали свою жизнь, но он, Кузьма, уже знает, что без Марии ему жизни не будет. Он хотел еще выяснить для себя, отчего это бывает, что человек так прикипает к человеку, и не мог. Неужели только ребятишки, как гвозди, сколачивают их вместе? Не похоже. Сейчас, когда старик и старуха спорили с парнем, он забывал о ребятах, они остановились где-то за спиной, а Мария будто сидела все время у него на коленях, так что Кузьме было тяжело ее держать, и все слышала.

— А ты, Кузьма, от своей бабы бегал или нет? — спрашивает парень.

И Кузьма признается:

— Один раз было.

— Вот видишь, и Кузьма... — хочет что-то сказать парень, но Кузьма перебивает его:

— Подожди. У меня по-другому было. Я с ней до войны жил, только мы не расписывались. После войны я сошелся со своей Марией, но один раз по старой памяти с той... Она меня вечером встретила...

Старуха с грустью смотрит на Кузьму:

— А Мария ваша не узнала?

— Узнала. Она уходила от меня, но я уговорил ее вернуться, пообещал. Больше не было.

— А нам вы верите? — спрашивает старуха.

— Верю. В деревне такие тоже есть.

— В деревне! — взрывается парень. — Там все на виду. Там если мужик на чужую бабу раз взглянул, в тот же миг вся деревня знает. Там бояться.

— Не поэтому, — возражает Кузьма. — Там сходятся, чтобы вместе жить.

— Вот и мы с Сережей всю жизнь были вместе, — говорит старуха и смотрит на старика. — Куда он, туда и я. А если разлучались, то ненадолго. И мне без него было плохо, и ему без меня было плохо. Правда, Сережа?

— Да, конечно.

— Мы еще молодые были, решили, что так будем жить, и живем. Что все будем вместе принимать — и радость, и несчастье, и смерть тоже. — Старуха говорит спокойно и тихо. — Теперь вот у Сережи большое сердце, а у меня сердце хорошее, но все равно у нас на двоих только одно большое Сережино сердце.

— Вы что, эти самые... баптисты, что ли? — ошарашенно спрашивает парень.

— Какие мы баптисты?! — посмеиваясь, отвечает старуха. — Ты слышал, Сережа? Нас уже в баптисты записали.

А поезд все идет и идет, и город все ближе и ближе.

Второй день начался с того, что рано утром — еще ребяташки не убежали в школу — явился дед Гордей. Сел, как всегда, на полу возле печки, запалил свою трубку и, помалкивая, крутил головой, когда топали по избе ребяташки или ходила Мария. Кузьма с дедом Гордеем не заговаривал. Чего он притащился ни свет, ни заря — от бессонницы, что ли? Кому они нужны, его советы, что с них толку? Кузьма вспомнил опять, как утром, когда поднимались, он сказал Марии, чтобы она перед бабами сильно не распиналась о своей недостатке, и Мария со злостью ответила:

— Учи-учи! Я теперь умная-преумная стала, на тыщу лет вперед знаю, как надо жить. Все учат.

Потом, когда старшие ребяташки убежали в школу, а Мария ушла по хозяйству, Кузьма спросил:

— Ты, дед, ко мне по какому делу?

— А? — Дед засуетился, стал подниматься. — Тут вот... — и протянул Кузьме деньги. — Я вчера у сына пятнадцать рублей выклянчил, а мне их куды.

— Не надо, дед.

— Как так — не надо? — растерялся дед. — Зачем я их нес? Ты не думай, я ему не сказал, что для тебя.

Он стоял перед Кузьмой с протянутой рукой, из которой торчали свернутые в трубочку пятирублевые бумажки, и смотрел на Кузьму со страхом, что Кузьма может не взять. Кузьма пожалел его, взял.

— Ты не думай, — обрадовался дед. — Будет, отдашь, а не будет — куды их мне, старику? Сам подумай.

Он собрался уходить — это на него совсем не походило.

— Посиди, дед.

— Нет, надо бежать.

— Дед!

— А?

— Только ты мне больше деньги не таскай, не надо.

— Как так?

— Я сам. А то у тебя ума хватит по деревне для себя собирать.

— Раз ты не велишь, не буду.

— Не надо, дед, не надо.

Вторым прибежал тот же самый мальчишка, сосед Евгения Николаевича:

— Евгений Николаевич велел сказать, что он собирается в район и вечером будет обратно.

Кузьма спросил:

— А он, когда на двор ходит, не велит тебе по деревне про это сказать?

Мальчишка хихикнул, но, подумав, надулся на Кузьму.

Потом пришел Василий, коротко сказал:

— Одевайся, пошли со мной.

— Куда?

— К матери.

Кузьма давно уже не видел тетку Наталью, с тех пор, как, года три или четыре назад, она слегла. Он не мог представить себе, что она лежит в постели — никуда не торопится, не бежит, ничего не делает, а просто лежит, как все старухи перед смертью, смотрит ослабевшими глазами на людей, которые заходят к ней посидеть, с трудом поворачивается с боку на бок. Все это годилось для кого угодно, даже для самого Кузьмы, но не для тетки Натальи. Сколько Кузьма себя помнил, она всегда, каждую минуту, как заведенная, что-то делала или куда-то торопилась, она успевала в колхозе и дома, вырабатывала за год по шестьсот трудовней и одна, без мужика, поднимала троих ребят, из которых Василий был старшим. Мало сткаться, что она была работающей, потому что работающих в деревне много, а тетка Наталья такая была одна. Она никогда не ходила шагом, все время бежала, торопилась, и деревенские, завидев, как она несется по улице, любили спрашивать:

— Тетка Наталья, куда?

Она на ходу торопливо отвечала:

— Куда-никуда, а бежать надо.

Эта поговорка осталась в деревне, ее повторяют часто, но ни к кому больше она не подходит так, как подходит к тетке Наталье.

В колхозе и сейчас еще вспоминают, как тетка Наталья вершила в сенокосы зароды. Нипочем потом этим зародам было любое ненастье, все с них стекало на землю, и они, не оседая, картинкой стояли до самой зимы. А еще тетка Наталья не хуже любого мужика умела рыбачить. Когда она по осени выходила лучить и зажигала смолье на своей лодке, мужики, матерясь, отгребали от нее подальше.

Так она и не научилась ходить шагом и, видно, из последних сил добежав до кровати, упала. И вот теперь, сама на себя не похожая, словно сама себя пережившая, день и ночь, не вставая, лежит в маленькой комнатке, отгороженной для нее от горницы. К ней приходят старухи, сидят, жалуются на житье, и

она, у которой всю жизнь не было даже пяти минут на разговоры, слушает их, поддакивает.

Когда Василий и Кузьма пришли, тетка Наталья спала и не слышала их. Одно окно было занавешено совсем, другое наполовину закрыто одной створкой ставни, и в комнате стоял полумрак, в котором Кузьма не сразу и увидел тетку Наталью.

— Мать! — позвал Василий.

Она очнулась, без всякого удивления, будто ждала их, взглянула на мужиков и сказала:

— Василий пришел. А второй — Кузьма. Давно я тебя не видела, Кузьма.

— Давно, тетка Наталья.

— Поглядеть на меня пришел? Хвораю я. Глядеть не на что стало.

Она сильно похудела, высохла, голос у нее был слабый, и говорила она медленно, с усилием. Лицо ее почему-то стало меньше, чем было, и как бы затвердело; когда она говорила, лицо оставалось неподвижным, даже губы не шевелились, и поэтому казалось, что голос идет не из нее, а звучит где-то рядом.

— Я и не сильно старуха. Семьдесят нету. Другие поболее ходят. А вот привязалась, — говорила она, и слушать ее надо было долго, хотелось в это время найти для себя еще какое-нибудь занятие.

— Болит-то шибко? — спросил Кузьма.

— Совсем не болит. А ходить не могу. Встану — ноги не держат. Слабая.

— Если не болит, ну и лежи себе на здоровье, тетка Наталья. Хватит, набегалась. Отдыхай теперь.

— А, ишь ты какой, Кузьма! Встать тоже охота. Я нонче летом вставала, на улицу сама ходила. Теперь по новой лежу.

— Раз вставала, значит, и еще встанешь.

— Не-е-ет, не встану. Духу все мене и мене.

Василий перебил их:

— Мать, у тебя деньги есть?

— Маненько есть. Но я тебе их, Василий, не дам. Пускай лежат.

— Дай, мать. Это не мне, вот Кузьме. Для Марии. Он нигде не может взять.

Тетка Наталья повернула глаза к Кузьме и, моргая, смотрела на него. Кузьма ждал. Василий поднялся и вышел из комнаты, что-то сказал сестре, которая жила с матерью, и сразу же вернулся обратно.

— У меня эти деньги на смерть приготовлены, — сказала тетка Наталья.

Кузьма не понял, отказывает она ему или просто сообщает, что деньги предназначались для другого. И он, не зная, что сказать, мол-

чал. Тетка Наталья тоже молчала. Тогда Кузьма спросил:

— Теперь что — и за смерть платить надо? Она будто всегда бесплатная была.

— Не-е. — Глаза у тетки Натальи слабо блеснули. — Я хочу сама себя похоронить и сама себе поминки сделать. Чтоб с ребят не тянуть.

— Будто мы бы тебе поминки не сделали, — буркнул Василий.

— Сделали бы. Я на свои хочу. Чтоб поболее народу пришло и подоле меня поминали. Я не вредная была. Все сама делала. И тут сама.

Отдыхая, она умолкла, не шевелилась. Кузьма подумал, что, наверно, пора подниматься, и оглянулся на Василия. Но тетка Наталья спросила:

— Мария-то сильно плачет?

— Плачет.

— Деньги тебе отдам, а тут смерть... Как тогда?

— Опять ты, мать, об этом, — поморщился Василий.

— Я уж ей согласие дала, — виновато сказала тетка Наталья, и было ясно, что она говорит о смерти.

Кузьма вздрогнул, боязливо глянул на тетку Наталью.

Смерть всегда стоит против человека, но перед теткой Натальей, как перед святой, смерть, казалось, не устояла и отошла чуть в сторону, пустив ее на порог, который разделяет тот и этот свет. Назад тетка Наталья отступить не может, а вперед ей еще можно не идти; она стоит и смотрит в ту и другую сторону. Быть может, случилось это потому, что, бегая всю жизнь, тетка Наталья уморила и свою смерть, и та теперь никак не может отдышаться.

Тетка Наталья шевельнула рукой и показала под кровать:

— Достань, Василий.

Василий выдвинул из-под кровати старый, потрепанный чехол и нашел в нем небольшой, в красной тряпке сверток. Она разворачивала его и говорила:

— Я их много годов копила. Дать надо. Я, сколь могу, подую. Но ты, Кузьма, не задерживай. Силенок совсем не стало.

— Ты лучше поправляйся, тетка Наталья, — зачем-то сказал Кузьма.

Она будто не слышала его.

— А как не сдую, умру, деньги Василию отдай. С тем и даю. Я хочу на свои умереть.

— Отдам, тетка Наталья.

Она спросила:

— На похороны-то придешь?

Он замялся.

— Приходи, выпей, помяни меня. Народу много будет, и ты приходи.

Она протянула ему деньги, и он взял их, будто принял с того света.

Хоть и сказал Кузьма тетке Наталье, что Мария плачет, она больше не плакала. Молчала. Если спросишь о чем-нибудь, ответит двумя-тремя словами и опять молчит, а то и не ответит, сделает вид, что не слышала. Глаза стали тяжелые, застыли. Ходит, убирается по хозяйству, а сама будто ничего не видит, будто ее водят и показывают, что надо делать. А потом упадет на кровать и лежит, не шевелится. Прибегут ребятишки, попросят есть — она поднимется и снова ходит, как лунатик, не помня себя.

Ребятишки тоже присмирели, перестали возиться, кричать. Водят глазенками по сторонам, ждут, что будет дальше. И никуда друг от друга не отстают, боятся. Выстраются рядом и смотрят на мать, а она их не видит. О чем-то думают. Как могут, страдают, приучаются к страданиям.

Изба большая, новая, а в ней тишина, как в нежилой.

Лучше бы Кузьма не заходил домой. Он хотел обрадовать Марию, показал ей деньги, которые дала тетка Наталья. Она взглянула на них, как на пустые бумажки, и отошла. Кузьма подождал, но она так ничего и не сказала. Он понял, что ей все стало безразлично. Вчера, в первый день, когда страх только начинал свое дело, ей было больно, она плакала и умоляла Кузьму спасти ее. Сегодня она окаменела. Смотрела и не видела, слышала и не понимала. Так, наверно, будет продолжаться до тех пор, пока ее судьба не решится окончательно, пока ее не уведут или не скажут, что все кончилось хорошо и она может жить, как жила, дальше. Тогда опять начнутся слезы, и, если все обойдется, душа ее понемножку начнет оттаивать. Ее тоже понять надо.

Кузьме стало невозможно оставаться больше дома, и он ушел.

День стоял пасмурный и низкий, с тяжелыми обвисшими краями. Было тихо, но тишина казалась давнишней, надоевшей людям и самой себе, и все вокруг выглядело заброшенным и неприбранным, будто один хозяин уже выехал с этого места, а другой еще не нашелся. Так оно и было — не осень и не зима. Осень уже надоела, а зима не шла. Крадучись стлались над избами дымки, не осме-

ливаясь подняться в небо, словно время для этого еще не наступило. С тоскливым видом, не зная, чем заняться, бродили по деревне собаки. Выглядывали из окон ребятишки, но на улицу не шли, и улица была пуста. Неприкаянно и сиротливо темнел за деревней лес.

Все чего-то ждали. Ждали праздников, когда можно будет погулять. Ждали зиму, зиму, когда начнется новая работа и повалят новые заботы. Ждали завтрашнего дня, который будет ближе к праздникам и зиме. А этот день, казалось, всем был без надобности, все его лишь переживали. И только один Кузьма, для которого он начался удачно, и сам ждал от него продолжения этой удачливости, надеялся на него.

Кузьма шел и думал, к кому лучше всего теперь зайти, но ничего не надумал, чтобы не возвращаться домой, направился в контору.

Председатель спросил его:

— Как там у тебя дела?

— Да будто ничего.

— Много собрал?

— Пока немного.

— А сколько — можешь сказать?

— Если сегодня Евгений Николаевич привезет, двести пятьдесят чуть-чуть не будет.

— И все?

— И то слава богу.

— Ну-ну, молись.

Председатель перебирал у себя за столом бумаги и был чем-то недоволен. Хмурился, вздыхал. Захлопнул одну папку, убрал ее и достал другую. Спросил, не отрываясь от бумаг:

— Где остальные хочешь брать? Есть какие-нибудь виды? Или на бога надеешься?

— Хожу вот, — пожал плечами Кузьма.

Председатель уткнулся в бумаги и молчал. Кузьма, чтобы не мешать ему, хотел уйти.

— Сиди! — не сказал, а приказал председатель.

А сам будто забыл про него.

Кузьма сидел и вспоминал сентябрь сорок седьмого года. Пospели хлеба, к самому горлу подкатила страда, а машины стояли. Не было горячего. Председатель пять дней в неделю жил в районе, бегал от райкома к МТС и обратно, всякими правдами и неправдами выбивал бензин, который машины потом сжигали за два дня и снова останавливались. А погода стояла как на заказ — ни одной тучки. И без того небогатые хлеба начали осыпаться. Не сладко было смотреть, как падает зер-

но, — после всего, что натерпелись за войну и за два последних голодных года. Снова достали серпы, пустили конные жатки — да много ли этими уберешь, когда и людей, и коней за войну поубавилось втрое?

Сам дьявол подчалил тогда к берегу эту баржу. Шкипер, толстомясый, как баба, мужик, засучив штаны, весь день ловил рыбу, а вечером зажег на берегу костер и стал варить уху. В огонь, чтобы лучше горел, он плескал из банки бензин. Туда, к костру и подошел председатель.

Они сговорились быстро. Утром выкатили на берег две бочки горючего, и баржа ушла. В тот день трактор снова стронул с места комбайн, а Кузьма поехал отвозить от него пшеницу. О том, что бензин куплен у шкипера, знала вся деревня, но, пожалуй, только один председатель ясно понимал, чем ему это грозит.

Его взяли в начале ноября, словно дождавшись, когда он кончит уборочную. Он просил на праздники оставить дома — не оставили. И деревне праздник стал не праздник. Сначала недоумевали: за что? Бензин этот он не украл, а купил, и купил не для себя, а для колхоза, потому что в МТСе бензина не было, а хлеб не ждал. Потом объяснили: бензин был государственный, шкипер не имел права его продавать, а председатель не имел права покупать. Кто понял, а кто нет. На собрании, как делегацию, выбрали трех человек, которые должны были хлопотать за председателя. Они сделали все, что могли: много раз ездили в район, один раз даже в область, писали бумаги в Москву, но ничего не добились, а может, еще и повредили председателю, потому что ему дали пятнадцать лет. Тут уж было над чем ахнуть.

Он вернулся назад в пятьдесят четвертом, после амнистии. Хотели снова назначить его председателем — нельзя: был под судом, партийность потерял. Работал бригадиром. И только три года назад, после того как сменилась добрая дюжина председателей и из колхоза убежала половина народу, написали в обком и еще раз попросили председателем его, председателя. Там разрешили. Горючего за эти годы стало вдоволь, а больше — сколько его знали — ни в чем плохом он замечен не был, за колхоз болел как за свое.

Председатель оторвался от бумаг, крикнул в дверь:

— Полина!

Вошла Полина из бухгалтерии.

— Полина, посмотри, сколько у нас получают за месяц специалисты? Если со мной брать.

— Все вместе, что ли?

— Ага, все вместе.

— Я и так помню: шестьсот сорок рублей.

Председатель подумал, спросил:

— Бухгалтер не приехал?

— Нет, он к вечеру будет, не раньше.

— Ну, ладно, иди. Пошли там кого-нибудь, пускай придут.

— Кто?

— Все, кто на зарплате. Скажи: дело срочное, а то они будут один за другим тянуться. Мне их два часа ждать некогда.

Кузьме он сказал:

— Ты сиди.

И снова занялся с бумагами.

Кузьма часто вспоминал тот бензин, за который сел председатель, и всякий раз чувствовал себя виноватым перед председателем. В чем была эта вина, он не знал, но она была, и ее должны были испытывать многие — и мужики, которые скатывали бочки с горючим с баржи, и тракторист, который заливал бензин в трактор, и Кузьма, который возил от комбайна хлеб, и все, кто этот хлеб ел. Казалось, председатель один принял на себя грех, лежащий на всех на них, и, чтобы они могли спокойно работать и жить, пошел под суд. Это знают и он, и они, но сказать об этом нельзя и не к чему, потому что теперь уже ничего не изменится.

Кузьме казалось, что даже совсем посторонний человек, который если бы только сегодня встретился с председателем и случайно узнал его историю, и тот должен чувствовать себя перед ним неловко, как человек перед человеком, получивший еще одно подтверждение того, что не все у них, у людей, хорошо и что несправедливость, несмотря ни на что, жива и здорова.

Так понимал все это Кузьма.

Стали подходить специалисты.

Первым пришел агроном, который только недавно вернулся с лечения; посреди уборочной его вдруг скрутила язва, и он ездил на курорт.

В деревне агроном появился два года назад из сельхозуправления, сам, по своей воле выбрал дальний колхоз, и за это его уважали, хотя сначала встретили недоверчиво: сидел в кабинете, был начальником, черт его знает, как с ним разговаривать, не будет ли он под видом агронома делать работу уполномоченного, каких раньше присылали в каждый кол-

хоз. Но агроном оказался агрономом и дело свое знал хорошо.

Он вошел, поздоровался и вопросительно взглянул на председателя. Председатель, не отвечая, сказал:

— Садись пока, подождем.

Потом прибежал ветеринар, который в деревне жил так давно, что уже мало кто помнил, что он тоже специалист.

Пришла зоотехник, большая, с мужским голосом, женщина. Она была молчаливой, спокойной, но ее в колхозе все равно побаивались, будто знали, что такая силушка и такой голос, как у нее, не могут долго оставаться без применения и вот-вот должны что-нибудь натворить.

Ждали механика. Председатель ворчал, поглядывая на дверь:

— Где же он сразу пойдет! Ему десять приглашений надо.

Наконец появился и механик, молодой парень, еще не снявший институтский значок. Намеренно усталой походкой человека, который делал дела, пока они тут сидели, и удовлетворенный этой усталостью, он прошел к дивану и сел с краю.

Специалисты сидели на диване у одной стены, Кузьма — напротив них у другой.

Кажется, только теперь председатель понял, что дело, которое он собрался решать со специалистами, совсем не простое. И он мялся, не начинал. Это почувствовали и специалисты, умолкли.

Наконец он начал:

— Я вот зачем велел вам собраться. Завтра у нас зарплата. Если бухгалтер вечером привезет деньги, завтра вы имеете право их получить. Но тут еще вот какое дело. — Председатель помолчал, смотрел на специалистов, словно проверяя их в чем-то, потом снова заговорил — спокойным, ровным голосом. — Но тут еще вот какое дело, — повторил он. — Летом, да и весной тоже, мы не один раз задерживали вам деньги. Вы как-то перебивались, находили какие-то возможности. Я думаю, что такую возможность мы найдем и теперь, а деньги я предлагаю отдать Кузьме. У него, сами знаете, дело хуже некуда. Ему за три дня надо тысячу набрать, а где он ее наберет, если не оказать помощь? Поздней мы ему собираемся дать ссуду, но ему ждать ее некогда. Поздно будет. А мы проживем, не пропадем. Колхозники вон живут. Вот такое с моей стороны предложение. Давайте решать. Невольно мы никого в этом деле не можем.

Кузьма простонал:

— Меня-то ты в какое положение ставишь? Хотя бы сказал, предупредил, что разговор про это пойдет.

— Тебя пока не спрашивают. Спросят — тогда скажешь. — Председатель повернулся к другой стене. — Ну как, товарищи специалисты?

Специалисты молчали.

Кузьма не мог смотреть в их сторону. Ему казалось, что от стыда он стал прозрачным, и в нем теперь видно все то жалкое и срамное, что есть в человеке. Он сидел перед ними, как на судилище, и не знал, хочет ли он, чтобы его помиловали, он чувствовал один стыд, горький и едкий стыд взрослого, уже пожилого человека. Сейчас, в эту минуту, не думая о том, что будет дальше, он даже хотел, чтобы они ему отказали, потому что тогда он ничем не будет им обязан и, наоборот, они будут чувствовать себя перед ним неловко. Но кто-то сказал:

— Дать, конечно, надо.

— Надо дать, — твердо повторил председатель. — Я говорю: мы не пропадем, а человек может пропасть. Не дай бог никому туда попадать. Понятно, что вы на эти деньги рассчитывали, но в ноябре мы что-нибудь придумаем, постараемся пораньше выбить из банка. Вот так. Значит, завтра надо будет зайти и расписаться в ведомости, а деньги выдать Кузьме. Если кто не согласен, пускай говорит сразу.

— Согласны, чего там! — ответил за всех агроном. Остальные молчали.

— Тогда ты, Кузьма, сразу с утра подходи и возьмишь. Полина говорит, там шестьсот сорок рублей. Мало тебе, но больше нету. Бухгалтеру я скажу, он знает будет.

— Я не могу понять: мы всю, что ли, зарплату должны отдать? — оглядываясь на специалистов возле себя, словно ища у них поддержки, засуетился ветеринар.

— Смотри сам.

— Согласен, согласен.

— Не надо полностью. — Кузьма поднялся, обращаясь к председателю. — Что я, грабитель с большой дороги, что ли? Им тоже жить надо, а я все деньги заберу. Если на то пошло, если вы согласны, давайте я половину возьму, а половина останется вам. — Теперь он говорил специалистам, уговаривал их не отдавать ему все деньги. — Давайте так? А то это что получается? Вы, значит, работали...

Председатель оборвал его:

— Ты тут не торгуйся. Дают — бери, бьют — беги, а торговаться нечего.

— Так у меня совесть-то есть или нету?

— Иди-ка ты к такой-то матери со своей совестью! Совесть у него есть. А у нас, по-твоему, нету совести? Ты бы лучше подумал, где остальные деньги взять, а не о совести рассуждал. Ты этой совести себе сильно много нахватал, другим не осталось. Думаешь, тебе деньги домой понесут? Дождидайся! Если ты хочешь свою Марию отстоять, за горло бери человека, раз он добрых слов не понимает. А ты вон хотел со Степанидой по совести. Ну и как — много она тебе дала? По совести можно только с совестливыми разговаривать, а не с каждым-всяким. Это такое дело. — Председатель раздраженно переброевал с места на место папку с бумагами. — Завтра придешь и получишь все деньги, или можешь Марии сухари сушить. Мне тоже, если хочешь знать, деньги нужны, но я тебе их отдаю, потому что я без них не пропаду, а ты пропадешь. Так и другие. Если ты с совестью, то и мы не последние гады.

— Да я разве...

— Все. Хватит разговаривать. Можете идти, кому надо.

Механик ушел сразу. Вслед за ним поднялась зоотехник, негромко спросила что-то у председателя, что-то о ферме, и тоже вышла. Пооглядывавшись, выскочил за дверь ветеринар. Остались втроем: председатель, агроном и Кузьма. Кузьма сел опять на свое место напротив агронома.

Молчали.

Поднялся агроном, попрощался с председателем и с Кузьмой за руку, Кузьме сказал, показывая на председателя:

— Ты не думай, что он нас заставил. Он правильно сделал. Бери смело эти деньги. Считаю, что они твои.

Ободрающе кивнул и вышел. Председатель заметил, что Кузьма тоже собирается уходить, сказал:

— Подожди, вместе выйдем.

Он убрал папки в стол, проверил, закрыли сейф, и стал одеваться.

Смеркалось. В двух-трех избах из окон слабо желтел свет, остальные дремали. Деревня лежала усталым, приткнувшимся к реке табором, который откуда-то пришел и, отдохнув, снова куда-то пойдёт. Странно было сознать, что это ощущение исходит от собственной усталости и что деревня не спит, а просто переживает переходное и как бы никуда не годное время между днем и ночью; потом, когда наступит полная темнота, можно будет до сна снова заняться работой; делать

какие-то дела, а сейчас надо просто ждать — такой беспутный час, словно стоишь на пороге из одной комнаты в другую.

Шли молча, и только возле своего дома председатель сказал:

— Зайдем, если не торопишься.

Свернули. Председатель отомкнул дверь, включил свет. Они были дома одни. Председатель достал откуда-то уже начатую бутылку, разлил по полстакана, принес в ковше воды. Приглашая к столу, сказал:

— Спирт.

— Где это ты его взял?

— Давно уж стоит. Весной еще ездил на рудник, купил бутылку. Немножко оставил. Ну, давай. За Марию. Чтоб не попала она, куда не надо.

От слов этих у Кузьмы внутри все затаилось, он скорей выпил и убил, сжег спиртом то, что хотело заболеть. Сразу же запил водой, отдышался и спокойно, без боли сказал:

— Теперь уж, поди, выкрутились. Помог ты мне здорово.

— А эту паскуду, Степаниду, я прижму. Вот начнется год, — пригрозил председатель.

— Может, у нее правда не было.

— Да что ты мне говоришь, когда мы ей в сентябре за корову выплатили! Ест она их, что ли? Лежат, в тряпочку завернутые, куда им еще деться!

— Не трогай ты ее. Такой человек. Что с нее взять?

— Прижму, как миленькую, чтоб понимала, что паскуда. Они у нее так, без пользы, лежать будут, а нет, не даст. Вот люди.

— Я все у тебя спросить хочу, — сказал Кузьма. — Когда тебя посадили, имел ты на нас обиду или нет?

— На кого на вас?

— Ну, на меня, на деревенских. Мы этим бензином все пользовались, а осудили одного тебя. Ты не для себя старался.

— А за что я на вас-то должен был обижаться? Вы здесь ни при чем.

— Так-то оно, конечно, так, а все же немножко не так. Я вот сказать не умею. К примеру, мы с тобой украли булку хлеба. Воровали вместе, а поймали одного меня. Ты без меня эту булку съел и поживаешь себе. Мне бы, наверно, обидно было.

— Значит, я тоже должен был с тобой садиться?

— Да нет, не должен, а обида остается.

— По идее, конечно, правильно: вместе воровали, вместе и ответ должны держать. Воры так и делают, но у них другое на уме.

Они выдают друг дружку и радуются, что выдают. Не то чтобы раскаиваются, а душа у них такая: раз я погорел, то и все кругом огнем гори. Я на них за семь лет насмотрелся.

Председатель помолчал, освобождаясь от воспоминаний, и сказал:

— Степанида наша тоже не намного лучше тех ворюг. Раз прячет от людей эти деньги, они теперь как украденные. Вот положение. И деньги вроде свои, а не пойдешь, ни холеры на них не купишь. Люди увидят, поймут, что обманула. Так и будет по рублю таскать, будто милостыню сама у себя просить. Сама себе наказание придумала. И у людей из доверия вышла. Куда дешевле было дать тебе эти деньги. Нет. Жадность раньше ее родилась.

Снова выпили. Председатель продолжал:

— Ты говоришь, была ли у меня на вас обида? Как тебе сказать? Вы здесь, конечно, ни при чем. Может, чуть-чуть поначалу и была, что вы за меня плохо хлопочете. Я ведь тоже думал: не для себя делал, для колхоза, должны учесть. Колхоз напишет поручительство, дадут принудилровку и все. Мне бы и этого хватило. Не получилось. Обида потом была, но на другое, на большое, на что, может, и обижаться грех. На государство, что ли. А приказать себе, отменить ее не мог. Я, конечно, виноват с этим бензином, я с себя вину не снимаю. Но если поразмыслить, не я один виноват, я этот бензин не из вредительства стал покупать, нужда заставила. У меня хлеб осыпался. Значит, и государство тоже было виновато, где-то получился недосмотр с этим бензином, раз его не было. А оно не захотело на себя свою вину брать, одного меня осудило. С такими мыслями и жил семь лет.

— Понятно, конечно.

— А потом, когда выпустили, прошло. — Председатель усмехнулся. — Мы так устроены: нам вчерашнего дня не жалко. Сегодня живем и ладно. А что было — черт с ним! Богачи! Еще наживем! Хотя — если подумать — и наживать-то больше особенно не из чего. У бога дней много, да наша пайка к концу идет.

— Там еще осталось.

— Я не говорю, что не осталось. Я говорю, мало осталось. А у меня эти семь лет от туда же шли, из моей пайки — не из государственной.

Дома Кузьму ждал Евгений Николаевич.

— Загулялся ты, Кузьма, загулялся. А я сижу и думаю: если гора не идет к Магомету, Магомет сам идет к горе.

— Давно ждешь, Евгений Николаевич?

— Так давненько уже. Но решил сидеть до победного конца. Я такой человек: если пообещал — надо сделать. Приезжаю сегодня в сберкасса, а ее на ремонт закрыли. Я туда-сюда, не можем, говорят, и все. Побежал на дом к заведующему. Хорошо, меня там знают. Выдали. Повезло тебе, Кузьма.

— Смотри-ка ты, как получилось!

— Да-да. А сейчас сижу и думаю: может, зря ездил, зря бегал? Тебя все нету и нету. Думаю: может, нашел уже? Но сижу, не поднимаюсь. Если пообещал, надо до конца довести. Чтобы не было обид.

— Да какие обиды, Евгений Николаевич! Спасибо тебе.

— Значит, нужны деньги?

— Нужны, Евгений Николаевич.

— Тогда держи. Вот. Круглая сумма, посчитай.

Кузьма взял у Евгения Николаевича пачку денег, спрятал ее в карман.

— Чего их считать? Все тут.

— Ну, смотри, это дело твое. Я тебя обманывать не буду. Как обещал, так и сделал. С тебя поллитра.

— Это само собой, Евгений Николаевич.

— Да нет, я шучу. Это просто так говорится. Потом, когда все кончится, можно и выпить, а сейчас не надо. Я знаю, у тебя сейчас каждая копейка на счету. Совесть надо иметь. Мы друг другу так помогать должны, без выгоды. Как русские князья объединялись в старину против половцев, так и мы должны объединяться против несчастья. Твоя беда это, знаешь, что? Это половцы, половецкое войско. Помнишь из истории? Против них мы, как русские князья, сходимся все вместе. Теперь нас попробуй тронь. Нас много, мы просто так не дадимся. А, Кузьма? Правильно?

— Правильно, — засмеялся Кузьма. — Смотри-ка, как ты рассудил! — И еще раз засмеялся.

Из комнаты высунулся Витька, глядя на них, радостно улыбался.

— Правильно, Витька? — крикнул ему Евгений Николаевич. — Проходили вы про половцев?

— Правильно. Я книжку про них читал.

— Ну и как? Похоже?

— Похоже.

— Вот видишь, кое-что понимает, значит, у вас директор? Не дурак.

Витька, застеснявшись, исчез. Евгений Николаевич отчего-то вздохнул, хотя по лицу его было видно, что он полностью доволен собой, и поднялся.

— Идти надо. Эти половцы нам тоже не легко обходятся. Устал я сегодня. Пойду спать.

— Задал я тебе работу, Евгений Николаевич.

— Ничего, ничего. Я тебя не упрекаю. На-до было — сделал. Свои люди. В другой раз ты для меня сделаешь. С людьми жить — человеком надо быть. Иначе тебя уважать не будут. Правильно я говорю?

— Это правильно.

— Вот видишь. — Евгений Николаевич осмотрелся. — Мария-то болеет, что ли?

Кузьма не знал, где Мария, но на всякий случай сказал:

— Болеет.

— Что с ней?

— Голова болит.

— А, ну это не страшно.

У порога Евгений Николаевич негромко спросил:

— Как там у тебя со ссудой — все в порядке?

— Обещают.

— Ага. Ну, когда дадут, тогда и расплатишься. Я тебя торопить не буду. Я знаю, ты человек надежный, за тобой не пропадет.

Мария сидела на кровати и, положив себе на колени старый, с обтрепанными углами альбом, рассматривала фотографии. Когда Кузьма подошел, она смотрела на себя, какой была лет тридцать назад: с тяжелой косой, перекинутой по тогдашней моде через плечо, с круглым, толстощеким лицом — невеста невестой, не рожавшая, не страдавшая, плакавшая только детскими молочными слезами. Ничего она тогда не знала о себе, кроме имени, кроме того, что родилась и выросла в этой деревне и теперь будет жить дальше. Не знала о войне, о своих ребятишках, о магазине, о недостатке, думала, что для всяких бед и страданий на свете слишком много людей, чтобы они могли выбрать ее, деревенскую, незаметную, гнала от себя мысли о том, что жизнь будет трудной, со слезами и горем. И теперь, страдая, она любовалась собой — той, которая ничего не знала, — завидовала ей и навеки прощалась с ней. Раньше за всем тем, что было в жизни, некогда было попрощаться, а сейчас вот нашлось время, она села и поняла, что ничего в ней не осталось от этой девочки, ничего, кроме имени и воспоминаний, все остальное, как на войне, пропало без вести. О завтрашнем дне страшно было подумать.

Кузьма сказал:

— Сегодня хорошо получилось. Теперь ерунда осталась.

Мария не ответила. Она положила альбом на подоконник и вышла. Он не пошел за ней. Он сел на кровать и почувствовал, как устал. Вот выпала ему работенка!

Ему показалось, что на него кто-то смотрит, он поднял голову — это была Мария. Она смотрела на него из горницы, будто припоминая, что он о чем-то говорил. Он вышел в горницу; Мария ушла на кухню. Он чувствовал, что она и оттуда продолжает смотреть на него, словно никак не может припомнить, о чем он говорил. Он подождал, но она так ни о чем и не спросила.

Тогда он разделся и лег.

И второй день подошел к концу.

Давным-давно, еще в молодости, Кузьма понял: каждый день наступает не просто так, одинаково для всех, а приходит для кого-то одного, кому он приносит только удачу. Если человеку не везет или если месяц, два у него сплошные будни — значит, это были чужие дни, а его собственный где-то уже на подходе.

Засыпая, Кузьма знал точно: сегодняшний день был для него. Еще утром он не смел даже мечтать о таком везенье. Сначала пятнадцать рублей принес дед Гордей, больше сотни дала тетка Наталья, потом председатель собрал специалистов и получилась сразу куча денег, которую осталось только утром пойти и взять, и под конец принес обещанную сотню Евгений Николаевич. А день был сумрачный, невидный из себя, а такой удачный, такой богатый! И хорошо, что он подгадал сейчас, когда Кузьме казалось, что надо выходить на дорогу и кричать караул — другого выхода нет.

Кузьма засыпал счастливый, благодарный своему дню и людям за доброту и выручку. Так, счастливый, и уснул, забыв, что его день уже прошел.

Ночью Кузьму будит парень.

— Кузьма! А, Кузьма! Ты спишь?

— Чего тебе?

— Дай закурить. Спасу нет, хочу курить, а у меня кончились.

Кузьма приподнимается, нащупывает на металлической сетке у стены папиросы. Тычет их парню. Тот стонет:

— Во-о-от хорошо. А то думал, пропаду.

Кузьме больше спать не хочется. Он слезает вслед за парнем вниз. Старуха от шоро-

хов: просыпается, вглядываясь, приподнимает голову.

— Спи, спи, бабуся, свои,—шепчет парень.

Они выходят в коридор. Здесь никого нет, стоит сонный, уютный для ночи полумрак. Чуть покачиваются на окнах, закрывая темноту, розовые занавески, чуть подрагивает под ковром пол.

Закуривают. Стоят друг против друга у окна и курят: парень нетерпеливо, шумно вздыхая от удовольствия, Кузьма — привычно и спокойно. Дым ползет по коридору в хвост вагона и там, покрутившись, теряется.

Парень, утолив первый, сосущий голод, курит спокойнее. Спрашивает у Кузьмы:

— Ты ничего, что я тебя поднял?

— Да я почти не спал. Так, дремал.

— Чего это?

— Днем, что ли, выспался. Теперь уж скоро приеду.

— А-а. А я всегда с похмелья плохо сплю.

Потом, поглядывая сбоку, он с нарочитым равнодушием говорит:

— А забавны эти старик со старухой. Ты заметил?

— Ага.

— Они что, правда такие или притворяются?

— По-моему, правда такие. Люди всякие бывают.

— Сюсюкает: Сережа, Сережа. По головке его гладит. И он тоже терпит, будто так и надо. Я бы со стыда умер — да еще на людях.

— Они, видно, всегда так.

— Врет он, что не бегал от нее.

— Кто его знает? Может, и не врёт. По-моему, не врёт.

— А она правда верит. По ней самой видеть. Заметил?

— Ага.

— А когда верит, и сама не побежит. Всяю войну, поди, ждала. Это ж подумать надо!

Парень останавливается, не курит. Задумчиво жуёт свои губы. Добавляет:

— За это орден надо бы давать. Придумали бы такой орден, специально для баб.

Проводница, услышав голоса, выходит из своей комнатухи, идет к ним. Молча останавливается рядом и смотрит.

— Курим, — говорит ей парень.

— Другого места не нашли, где курить.

— Ты уж скорей кричать! Какие все же вы! Вон, бери пример, здесь старуха одна едет, она за всю жизнь ни разу на своего старика не крикнула. А вы чуть что — и гавкать.

Вот народ! Почему раньше женщины не такие были?

— Ты вот пооскорбляй меня...

— Да кто тебя оскорбляет? Нужна ты мне! Я тебе втолковываю.

Парень и правда говорит не оскорбительным, а скорее, обиженным, жалующимся тоном человека, который много натерпелся. И проводница, подумав, уходит. Парень закуривает вторую папиросу и в скорбной задумчивости приваливается к стене. Кузьма, спохватившись, догоняет проводницу и спрашивает, сколько осталось до города. Всего три часа. Теперь уж не стоит и ложиться. Кузьма неторопливо возвращается к парню.

Парень смотрит куда-то рядом с Кузьмой и говорит:

— У меня баба вообще-то ничего была. А вот жизнь не получилась.

— Сам, наверно, виноват.

— Как тебе сказать, Кузьма? Сам, не сам. Пил, конечно. Но другая давно бы привыкла и жила бы. Я один, что ли, пью? Привыкают же бабы. Так, для порядка, поворчит и опять вместе. Я же вижу. А эта сбрындила, принцип поставила, ушла. Если бы я еще каждый день пил? Я не алкоголик, мне ее каждый день не надо. Так, по настроению, с ребятами когда. И зарабатывал столько, что на все хватало — и на водку, и на семью. Я говорю: принцип. — Отдохнув, он говорит спокойнее. — Сам, конечно, дурак. Надо было смотреть, кого брал. Для другой бы и такой хороший был, а этой вот не подхожу, не тот сорт.

— Ребятишки-то есть у вас?

— Девчонка. Четвертый год.

— Вернется, поди. Как же ребенку без отца?

— Не знаю, не могу сказать. Она один раз уже уходила от меня, но я тогда знал, что обратно придет, никуда не денется. Почему знал, черт его поймет, но чувствовал, что придет, что это нарочно, чтоб характер передо мной показать. Думаю, показывай, дело твое. А сам хоть бы хны. Пришла. А сейчас не чувствую. Видно, всерьез. Да и по ней было заметно, что всерьез.

— А ты к ней не ходил, не разговаривал?

— Нет. Как ушла, я сразу отпуск, путевку и поехал. Раз ты так, то и я. Я тоже бедовый. Не люблю уговаривать, не по мне это.

— Да-а.

Вагон спит. Они разговаривают негромко, и разговор их никому не мешает, они будто специально оставлены здесь, как на дежурство, чтобы кто-то не спал, думал и разговаривал о жизни — не то всем вместе ее можно проспать. Раз за разом со свистом кричит в

ночи электровоз и смолкает — теперь надо прислушиваться, не закричит ли он снова. Ночью все непросто, все тревожит и пугает, завтрашний день кажется таким далеким, и еще неизвестно, наступит ли он, не сломается ли что-нибудь в этом извечном порядке дня и ночи, не остановится ли в темноте, не замрет ли. Разве возьмется кто-то совершенно точно сказать, что это невозможно.

Парень говорит:

— Обратню подумаю: одной ведь тоже с ребенком не сладко. Помотается, помотается и поймет. Молодая, еще не взяла свое. Это когда они ругаются с нами, думают, что мы им не нужны. Разойдется и... такой-сякой, поливает, на чем свет стоит. А потом одумалась и обратно: ластится, задабривает. Живому живое и надо. А чего она одна будет? Не выдержит, поди.

— Зачем одна? — с умыслом говорит Кузьма. — Найдет кого-нибудь.

— Пускай попробует, — зашевелился парень. — Это как еще найдется! Думаешь, я смотреть буду? Не поздоровится ни ему, ни ей.

— Но раз вы разошлись...

— Пускай тогда уезжает, чтоб не на моих глазах. Хоть до любого доведись — думаешь, приятно, когда с твоей бабой, хоть и с разведенной, другой живет? Все равно что кусок мяса от тебя от живого отдирают. Да у нас в деревне, к примеру, никто и не осмелится с ней. Знают меня. Знают, что терпеть не буду.

Парень хотел бросить окурок в мусорное ведро, наступил на педаль — крышка с грохотом отскочила, не удержалась и брякнулась обратно.

— Ч-черт! — выругался он.

На шум выглянула проводница, сверкнула глазами и снова скрылась. В купе кто-то заворочался и тоже затих — видно, проснулся и сразу уснул. А поезд как шел, так и идет.

Парень мнет окурок в руках, и табак сыплется на ковер. Оглядываясь, он нагибается и сдувает табак с ковра. Потом руками осторожно приподнимает крышку и сует окурки в ведро. Хмуро молчит.

Опять тихо, спокойно. И не видать, не слышать, есть на улице ветер или нет. Не видать, куда идет поезд, есть ли под ногами земля. Хорошо тем, кто спит. Проснутся, наверно, будет утро, может быть, даже солнце. При солнце спокойней.

Кузьма думает скоро город. Вот так бы ехать и ехать и подольше ничего не знать — нет, скоро приедет и все узнает.

Парень вдруг спрашивает:

— Черт ее знает, может, мне обратно поехать? Они любят, когда из-за них от чего-нибудь интересного откажешься. Пришел бы, сказал: так и так. Как ты считаешь, Кузьма?

— Не знаю, — отвечает Кузьма. — Это тебе самому надо решать.

— Ну да. Я знаю, что самому. Черт ее знает... — Пока парень думает, поезд увозит его все дальше и дальше. И он решает: — А-а, теперь уж поздно. Раз поехал, надо ехать. Приеду, как-нибудь решится. Нет так нет — на ней белый свет не сошелся. — Он хочет свести этот разговор к шутке. — А то вернусь, куда деньги девать? Опять пропивать надо. Лучше я их проезжу.

Он признается:

— Это все старик со старухой. Посмотрел на них, и как-то не по себе стало. Расчувствовался. Я чувствительный какой-то. Родился, что ли, таким ненормальным. В кино другой раз сижу и чуть не плачу, когда там что-нибудь такое показывают. С ребятами из-за этого боюсь рядом садиться. Стыд один: они смеются, а я губы сжимаю, чтоб не зареветь. Душа какая-то бабья.

Поезд вдруг вскрикивает и начинает тормозить. Проводница с фонарем, не торопясь, идет к выходу — значит, ничего страшного, просто остановка. Парень отводит шторку в сторону и смотрит в темноту. Видит огоньки. И говорит:

— Тоже люди живут.

До города теперь остаются совсем пустяки.

Наступил третий день.

Кузьма поднялся с тем спокойным и довольным чувством, когда все идет хорошо. Сам разбудил ребят в школу, постоял, посмотрел, как они, суетясь, одеваются, подумал про себя, что надо бы им как-то сказать про деньги, чтобы они повеселели. Когда сели за стол, и Мария, как всегда, налила ребятам молока, а себе и Кузьме чаю, Кузьма подмигнул Витьке, показал на стаканы:

— Давай меняться.

Витька удивился, радостно встрепенулся.

— Давай.

— Молока, что ли, нету — у ребенка отбираешь! Надо — так налью! — зло вскинулась Мария.

— Не надо.

Кузьма нисколько не обиделся на Марию и даже в душе был немножко доволен тем, что она рассердилась — если может сердиться, сможет и радоваться, значит, застыла не совсем и скоро отойдет. С Витькой они, пока

сидели, все время заговорщически переглядывались, и Кузьма теперь знал, что Витька, как мог, понял: все хорошо. В школу он побежал подпрыгивая.

Кузьма подождал, когда совсем рассвело, неторопливо, удерживая себя от спешки, оделся. Уходя, сказал Марии:

— Пойду, деньги возьму.

Она не ответила, но он и не ждал, что она ответит, ему надо было только сказать, чтобы слова эти остались в ней и делали свое дело.

День поднимался хмурый, сродни вчерашнему, который приходил для Кузьмы, — вот и этот, видно, будет ему как свой. Все идет к тому. Кузьма шагал и чувствовал, как приятной тяжестью отдаются в теле шаги и тело ждет новых, следующих. У него это часто бывало, когда хочется идти и идти, и он отдыхал во время хохоты.

Ему все же показалось, что день встает какой-то непрочный, словно стеклянный, с тонким и ломким стеклом. Он подумал, что так оно и есть, такое время: не осень и не зима, осень каждую минуту может сломаться и наступить зима. Снег нынче, на удивление, еще ни разу не пробрасывало. Теперь уж недолго осталось ждать.

Недалеко от конторы Кузьму окликнул механик, подошел и поздоровался с ним за руку. Кузьма почувствовал неловкость перед механиком: как-никак идет получать его деньги. Чего уж тут приятного? Стыдно в глаза человеку смотреть.

Механик сказал:

— Ты меня, Кузьма, конечно, извини, что я к тебе с этим подъезжаю. Я знаю, нельзя так, но больше ни черта не мог придумать. Понимаешь, я к себе на праздник товарища пригласил, вместе в институте учились, а денег нету. Бутылку не на что взять.

— Да я тебе дам! — обрадовался Кузьма. — Чего ты за свои деньги извиняешься? Вот еще не хватало.

— Ага, если можешь, дай рублей двадцать. Я тут почти никого не знаю, занять не у кого.

— Дам, дам. Какой может быть разговор.

Они вошли в контору, и механик кивнул на комнату, где сидели специалисты:

— Я тут буду.

Кузьма пошел к бухгалтеру. Тот увидел Кузьму от порога, откинулся на спинку стула и ждал, когда Кузьма подойдет, показывая всем своим видом, что он его ждет. Как и все бухгалтеры, он был мужик дотошный и скуповатый, и Кузьма вдруг спохватился, что он по-

чему-то ни разу не подумал, что может не получить деньги; это было вероятней всего, потому что мало кому удавалось получить их с первого захода, бухгалтер считал, что этого недостаточно и заставлял приходиться по три, по четыре раза.

Лет восемь назад бухгалтер был председателем колхоза, но недолго, его сняли за то, что он, кроме приказаний, в председательских делах не знал ничего. Сняли и поставили заведующим фермой. Там он тоже продержался только неполный год: доярки не захотели работать с ним и одна за другой стали подавать заявления; тогда решили, что лучше заменить одного заведующего, чем восемь доярок. Его перевели в бригады овощеводов, где сейчас работает Василий, но тут ему не понравилось, и он ушел из бригадиров сам. После этого работал где-то еще, потом где-то еще — все на руководящих должностях — и, наконец, стал бухгалтером. Надо было ему сразу пойти в бухгалтеры: здесь отношения с людьми не прямые, а через бумажки, здесь он может почти не разговаривать, а только показать, где расписаться, какие принести справки, документы, и это ему больше всего подходит, потому что он не умеет работать с людьми. Он не может переносить, когда у человека хорошее настроение, и воспринимает смех как обиду для себя, поэтому научился поддевать людей, сказать им такое, отчего человек теряется и умолкает. Сам он никогда не смеется и даже не улыбается, и только изредка рот его скашивается то в одну, то в другую сторону — значит, в этом месте он мог бы засмеяться или улыбнуться, если бы обладал такой способностью. Трудно сказать, боятся ли его, но без дела к нему стараются не заходить и на глаза лишний раз ему стараются не попадаться; он вызывает странное, ничем не объяснимое чувство собственной незащищенности.

Кузьма сам себе удивился, почему он был уверен, что получит деньги. И, подходя к бухгалтеру, весь сжался, приготовился к самому худшему.

— Здорово.

— Здравствуй, — с вызовом ответил бухгалтер. — Пришел?

— Пришел.

— Получить хочешь?

— Если дашь!

Казалось, бухгалтер почувствовал, что Кузьма понимает, насколько он от него зависит, и, помолчав, выждав время, чтобы Кузьма поволновался, сказал:

— Тут неприятность получилась. — Еще с удовольствием похмурился, еще потянул время. — Я же не знал, что теперь ты будешь наши деньги получать. Взял и истратил свою зарплату.

— Как истратил?

— Как деньги тратят! В магазине. Могу отчитаться: купил жене тужурку на зиму, себе валенки.

Кузьма, наконец, понял, кивнул.

— А остальные, — спросил он.

Бухгалтеру, видно, доставляло удовольствие отвечать не сразу, и он, глядя на Кузьму, молчал. Все же сказал — сердито:

— Остальные в сейфе, у Полины. Там в ведомости не все расписались. Если Полина выдаст под свою ответственность, пускай выдает.

Кузьма пошел к столу Полины. Бухгалтер крикнул ему в спину:

— Перепиши там себе на бумажку, кому сколько должен будешь. Отдавать придется.

Он отпустил его от себя с неохотой, жалея, что так быстро все сказал.

Полина прошептала:

— Я тебе выдам, только ты сразу же найди зоотехника и ветеринара, пускай зайдут.

— Ладно.

Она стала считать деньги, быстро-быстро перебирая бумажки, и все-таки считала долго: деньги были только тройками и рублями, и она потом их еще раз пересчитывала. Кузьма стоял, без интереса и без волнения смотрел, как мелькают бумажки в руках Полины, ждал. Отдавая ему деньги, она все так же шепотом спросила:

— Много еще осталось?

— Теперь опять много.

Кузьма затолкал деньги в карманы, и карманы оттопырились. Он придавил их сверху ладонью, потом вспомнил, что надо двадцать рублей сразу отдать механику, и достал верхнюю пачку, в которой были тройки; он отсчитал не двадцать рублей, потому что двадцать тройками не получалось, а тридцать. Бухгалтер с холодным любопытством наблюдал за ним из своего угла, и Кузьма в ответ тоже уставился на бухгалтера и не отводил взгляда до тех пор, пока он не отвернулся. Бухгалтер решил отомстить:

— Не пропей.

— Иди-ка ты... — без особого зла ответил Кузьма.

Он зашел в комнату специалистов, где сидел механик, и тихонько, как взятку, сунул ему в руку тридцать рублей. Механик, не оборачиваясь, бормотнул:

— Ага.

В коридоре Кузьме попала жена ветеринара, но он не заметил, что она смотрит на него с тем жадным и недобрим вниманием, с каким преследуют добычу. Хотел зайти к председателю, заглянул — у председателя был народ — и закрыл дверь. Что он ему скажет? Лучше идти домой.

День был все такой же хмурый, так и не сломавшийся, теперь он казался мятым, склеенным из старой прозрачной бумаги. Дунь на него, и он улетит, но ветра не было и дунуть на него было некому. Потихоньку что-то вокруг шумело, звучало, лаяло — будто шелестели стенки этого бумажного дня. Дали были мутными. Кузьма подумал, что сегодняшний день, наверно, наступил для бухгалтера — он под стать его постной роже.

Деньги в карманах мешали Кузьме идти свободно, и он задерживал шаг — не шел, а нес деньги, будто они могли расплескаться. Они не радовали его: что-то там случилось с радостью, и она не шевелилась. Он знал, что они нужны, и только, а обычной сладости, оттого, что они есть, он не испытывал. Хотелось скорее их выложить, освободить карманы.

Дома Кузьма сбросил деньги в большую, из-под леденцов, банку, которую привез после войны из Австрии, и поставил банку на шкаф. Стало легче. Подбадривая себя, он подумал, что сейчас в деревне ни у кого нет столько денег, сколько у него в этой банке. Он сделал все, что мог, а за два оставшихся дня должен добрать до тысячи. Как — он еще не знал. Что-нибудь придумается, не может быть, чтобы на этом все кончилось. Раз нужна тысяча, он ее как-нибудь достанет. Только не сейчас, не сегодня. Он чувствовал, что не сможет просить сегодня деньги, что он израсходовал в себе для этого все. Надо отдохнуть.

В сенях слышались шаги, но Кузьма принял их просто как шаги сами по себе, не связав их с тем, что это кто-то идет. И когда вошла жена ветеринара, он удивился, откуда она здесь взялась. И сразу вспомнил, что не нашел ветеринара и зоотехника, не сказал им, чтобы они расписались в ведомости.

Жена ветеринара стояла у дверей с поджатыми, подрагивающими в уголках губами. Она была плоская, некрасивая, и Кузьме, непонятно отчего, часто ее бывало жалко. Он знал, что с ветеринаром они живут плохо, и она, казалось, была доказательством того, что бывает с женщиной, когда в семье нет мира. Кузьма скорее привычно, чем сознательно, пригласил:

— Проходи, чего в дверях стоишь.

Она не тронулась с места. Губы ее задрожали сильнее:

— А мы-то как будем жить, Кузьма? Ты подумал? Почему так делаешь-то?

Кузьма понял не сразу, а когда понял, не смог ответить.

— Мы их месяц ждали. — Голос у нее подрагивал, сдерживался, чтобы не забиться, не заплескаться. — У нас пятьдесят рублей долга. Как мы теперь?

Кузьма поднялся и достал со шкафа банку с деньгами. Опрокинул ее на стол и сначала нашел бумажку, на которую была переписана зарплата специалистов, а потом старательно, чтобы не ошибиться, отсчитал деньги. Жена ветеринара подошла ближе, и он, подавая ей деньги, вдруг увидел Марию. Она только на секунду остановилась и прошла в кухню. Кузьме стало противно и стыдно — будто эти деньги он украл у Марии и она застала его на месте преступления.

Жена ветеринара пропала.

Кузьма собрал опять деньги в банку, поставил опять банку на шкаф, но с краю, не так далеко, как раньше. Когда в ней столько денег, конечно, за ними еще могут прийти. Надо подождать. Деньги еще кому-нибудь могут понадобиться, а ему, Кузьме, они ни к чему.

Он стал ждать.

Несколько раз мимо проходила Мария, поглядывала на него, но он не оборачивался.

Он ждал.

Прошел час, пошел второй, и Кузьма уже стал недоумевать, почему так долго ничего нет, но тут в сенях опять послышались шаги. Теперь он помнил: раз шаги — значит, кто-то идет, и обрадовался. Он ждал не зря.

Вошла девочка, дочь агронома, и Кузьма с неудовольствием подумал: почему специалисты не идут сами, почему они посылают вместо себя жен да детей? Ведь девочка может потерять деньги. Кто потом будет виноват?

— Здравствуйте, — робко, исподлобья оглядываясь, сказала девочка.

— Здравствуй, здравствуй, — ответил Кузьма и поднялся, чтобы достать банку. Хорошо, что он не затолкал ее к стене, а поставил с краю.

— Дядя Кузьма, — быстро заговорила девочка. — Скажите вашему Витьке, чтобы он за мной не ходил.

— Что? — Кузьма остановился, и вытянутая рука упала вниз.

— Скажите вашему Витьке, чтобы он не ходил за мной. А то нас дразнят женихом и

невестой. Мне мальчишки проходу не дают. Кричат: жених и невеста, поехали по тесту.

Кузьма недоверчиво засмеялся:

— Неужели?

— Ну. Зачем он ходит? Я ему сказала, а он все равно. Пускай за другой девочкой ходит.

— Вот паразит! — громко засмеялся Кузьма. — Ходит, говоришь?

— Ну. Меня дразнят, а я не виновата.

— Вот он придет, я ему шею наkostenю! Ходит — ишь, гусь!

— Нет, вы ему так скажите. Он отца должен так слушать.

— Скажу. Я ему скажу.

— Я побегу, — поприсилась девочка.

— Беги и не бойся: теперь его хоть убей, он на тебя ни разу не взглянет. Вот увидишь.

Она глубоко кивнула, как поклонилась, и убежала. Кузьма еще весело хмыкнул ей вслед, поулыбался, но уже чувствовал, что к нему возвращается то пустое и холодное состояние, которое было до девочки. Он покосился на банку и сел. Надо бы сосчитать деньги, но подниматься снова не хотелось; он боялся, что их осталось совсем немного, и тогда будет еще хуже. Теперь он помнил, что деньги нужны для Марии.

Он попытался успокоить себя тем, что еще вчера, сутки назад, он не смел даже надеяться на такие деньги. Не успокоилось. Он решил: лучше думать о деле. К кому еще можно пойти, у кого просить?

Потом как-то забылось, что он хотел думать о деле, и ни о чем не думалось. Он сидел возле банки, как сторож, когда воров нет и не может быть. Шевелился, курил.

Прибежали из школы ребята, и Кузьма стал вспоминать, зачем ему был нужен Витька, но так и не вспомнил.

Ребята ели на кухне одни: ни Кузьма, ни Мария к ним не вышли.

Тихо, боязно было в избе; все дома, а тихо и боязно.

Перед вечером, запыхавшись, присел на дед Гордей. Крикнул Кузьму, не находя места, закружил по комнате и под конец помянул его за собой к дверям. В сенях зашептал:

— Тебе, Кузьма, и вовсе никаких денег не надо. Кумекаешь? Без денег можно.

— Еще что, дед, выдумашь? — морщась, сказал Кузьма.

Дед Гордей радостно захихикал:

— Вот тебе и выдумашь! Дед выдумывать не станет, он точно будет знать. Я тебе сейчас такое подскажу...

Кузьма промолчал.

— Вот, значит, как. Можно без денег. Ни одной копейки не надо. А Марию не тронут. И по закону будет правильно. — Дед поднес свое лицо вплотную к Кузьме и зашептал: — Сделай ее беременной, и на этом хватит. В законе записано: беременных в тюрьму не брать.

— Да ты что, дед, — отшатнулся Кузьма.

Дед заговорил горячее и громче:

— Верный человек мне сказывал, он врать не будет. Гольная правда. Сделай Марию беременной и гуляй. Долго ли тебе? А?

— Иди, дед, отсюда и больше ко мне с этим не приходи. Советчик нашелся.

— Как? — опешил дед.

Кузьма повернулся, пошел в дом.

— Я тебе дело сказываю, а ты норку на сторону воротишь, — закричал дед. — Ну и вороти — мое дело маленькое. Только после не говори, что я к тебе не приходил.

Потом Кузьма раздумался, и предложение деда Гордея уже не казалось ему диким. Так оно, конечно, было бы неплохо. Все сразу бы решилось. Он и сам слышал, что беременных жалеют, не судят, но почему-то забыл об этом — наверно, потому, что точно не знал, правду ли говорили. Там, где шестеро ртов, прокормится и седьмой, где растут четверо, поднимется и пятый. Только теперь уж, наверно, поздно. Знать бы раньше. И неизвестно еще, забеременеет ли сразу Мария — как-никак ей за сорок. Когда надо, может и не получиться. А если и получится, то, пока разберутся, что она с животом, успеют десять раз засудить. Надо все же намекнуть ей. Нет, лучше не надо, а то она подумает, что с деньгами ничего не выходит, и тогда уж совсем обомрет. И так ходит как неживая. Куда ни кинь — везде клин. Что же делать? К кому завтра пойти? А к кому пойдешь? Не к кому. Может, плюнуть на все и поехать с утра к брату? Только вот есть ли у него деньги? Даст ли он?

Вот штука так штука получилась.

Третий день тоже кончился. Подошло его время, и он, как в могилу, ушел под землю — и косточек не найдешь. До ревизора теперь оставалось только два, от силы три дня.

С вечера Кузьма уснул, но среди ночи его разбудила машина, осветившая комнату фарами, и светом вспугнула сон. Кузьма поднялся, присел к окну. За окном была мертвая темнота, она укрыла все живое и, казалось, нигде не кончалась. Чтобы перебить в себе

подступающую тревогу, Кузьма закурил, и оттого, что ему удалось закурить, стало легче. Ночью в голову лезут всякие мысли — вот почему по ночам люди стараются спать.

Потом он лег, и ему повезло, он уснул. Ему приснился интересный сон: будто он едет в той самой машине, которая его разбудила, и собирает для Марии деньги. Машина сама знает, где они есть, и останавливается, а он только стучит в окно и просит, чтобы ему их вынесли. Деньги выносят, и машина идет дальше.

Он снова проснулся, но ночь еще не прошла и темнота даже не стронулась с места. Опять в голову полезли всякие мысли, и одна из них была совсем нехорошая: Кузьме показалось, что он остался один на всем белом свете — он даже подумал: не на белом, а на черном, будто белого света уже не существовало. Но задремал, словно разваливаясь на части, самолет, быстро затих — как развалился, и Кузьма стал ждать следующих звуков, которые затаились в темноте. Их долго не было, но теперь он знал, что он не один, и мог думать о другом. Откуда-то сзади, ноя и более, выдвинулись мысли о Марии и о деньгах, и уже по цепочке, как последнее звено, вспомнился брат. Брат — последнее звено торчало перед открытыми глазами Кузьмы, породственному терпеливо ожидая, когда Кузьма нацепит на него колечко — то, что ему предстояло сейчас решить. И Кузьма решил: утром он отправится к брату.

Утром в стену снаружи бухнуло ветром, и Кузьма заторопился. Он сказал Марии, что едет в город, и Мария, безмолвная и недвижимая в последние дни, вынесла свое суждение: брат не даст. Но отступать Кузьме было уже некуда. Поняв, что она будет одна, боясь остаться беззащитной, Мария снова и снова повторяла, что брат денег не даст, потом заплакала, но Кузьма не слушал ее: деньги, которые он должен был достать, засдонили собой Марию. И он ушел.

В автобусе он сидел у окна и смотрел, как безумствует ветер. Кузьма понимал, что так оно и должно быть, что погода не может оставаться спокойной, когда у него на душе творится бог знает что, но ветер задувал с такой силой, что Кузьма боялся, не значит ли это, что дальше ему придется еще хуже. Весь день он ждал, что ветер затихнет, и не мог дожидаться; даже с закрытыми глазами он видел, как стонет на ветру и бьется земля.

И только в поезде, когда стемнело, Кузьма стал успокаиваться. Теперь он не знал, что происходит на улице, не знал и не хотел загадывать, что его ждет впереди. Он был до-

волен тем, что может ничего не делать, что все за него пока делает поезд. Кузьма отдыхал, но это был отдых подсудимого перед приговором, и он чувствовал это.

Он подружился со стариком и старухой и пил вместе с ними чай, он понимал и жалел парня, когда тот рассказывал ему про себя. Слушая парня, он вспомнил мужика, которого встретил на вокзале, и сделал для себя одно открытие: каждый человек, как с аппендицитом, ходит со своей бедой, которая, если не болит сегодня, то заболит завтра. И тогда Кузьма почувствовал себя товарищем многих и многих людей, которые рассеяны по всему свету и которые не знают, что с ними будет дальше. От этого стало легче, но ненадолго.

Ему хотелось ехать и ехать, но поезд уже подвозил его к городу. Кузьма со страхом думал о том, что сейчас он снова должен будет просить деньги. Он не был к этому готов. Он боялся города, не хотел в него. И, когда поезд начал тормозить, он вспомнил о ветре и поехал, говоря себе, что все дело только в ветре.

Кузьма сходит с поезда и от неожиданности вздрагивает: снег. Большими, лохматыми хлопьями он спадает на землю, и в наступающих утренних сумерках земля начинает белеть. Ветра нет и в помине. Вместе со снегом сверху льется ровная, нетронутая тишина, заливая собой пробуждающиеся звуки.

Стараясь попадать в чьи-то следы, чтобы не мять снег, Кузьма через рельсы идет к вокзалу. Его охватывает горькое, тоскливое чувство неизбежности того, что сейчас произойдет. Он заставляет себя думать, что приехал не к чужому человеку, а к брату, но

брат, как спасение, из мыслей все время ускользает, и остается одно только слово, слишком короткое и непрочное, чтобы успокоить. Тогда Кузьма думает о снеге, о том, что снег сейчас — это к добру. Должно быть, он добрался теперь и до деревни, и Мария, поднявшись, засветившимися в надежде глазами смотрит на него, как на чудо. Наверно, Мария считает, что Кузьма уже у брата и обо всем с ним договорился — после этого, как добрый знак, чтобы она зря не маялась, и пошел снег. Она до всего может додуматься.

Кузьма идет к автобусной остановке и, достав конверт с адресом, спрашивает, как доехать до брата. Ему показывают автобус, на котором надо ехать. Кузьма садится. Народу в автобусе из-за раннего и воскресного утра немного. Кузьма чувствует себя среди этих чужих людей совсем одиноким и потерянным, будто он приехал в город не сам, а его привезли. Мысли о деньгах вдруг кажутся ему пустяковыми по сравнению с тем, что его ждет впереди. Он оглядывается на людей — все смотрят на улицу и не замечают его. Он ругает себя: как это ему в голову пришло ради денег ехать в город, неужели он не мог достать их у себя дома?

Потом он сходит с автобуса, оглядываясь, держа перед собой конверт с адресом, идет по улице. Рассвело. Снег все валит и валит, падает Кузьме на плечи, на голову, застилает глаза. У Кузьмы только одна радость, одна надежда — снег.

Он находит дом брата, останавливается перед ним, чтобы передохнуть, и прячет в карман мокрый от снега конверт с адресом. Потом вытирает ладонью лицо, делает последние до двери шаги и стучит. Вот он и приехал — молись, Мария!

Сейчас ему откроют.